АННА МАСС

Необыкновенная встреча

Д



АННА МАСС

НЕОБЫКНОВЕННАЯ ВСТРЕЧА

ПОВЕСТЬ



МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1979

Рисунки Г. Валетова

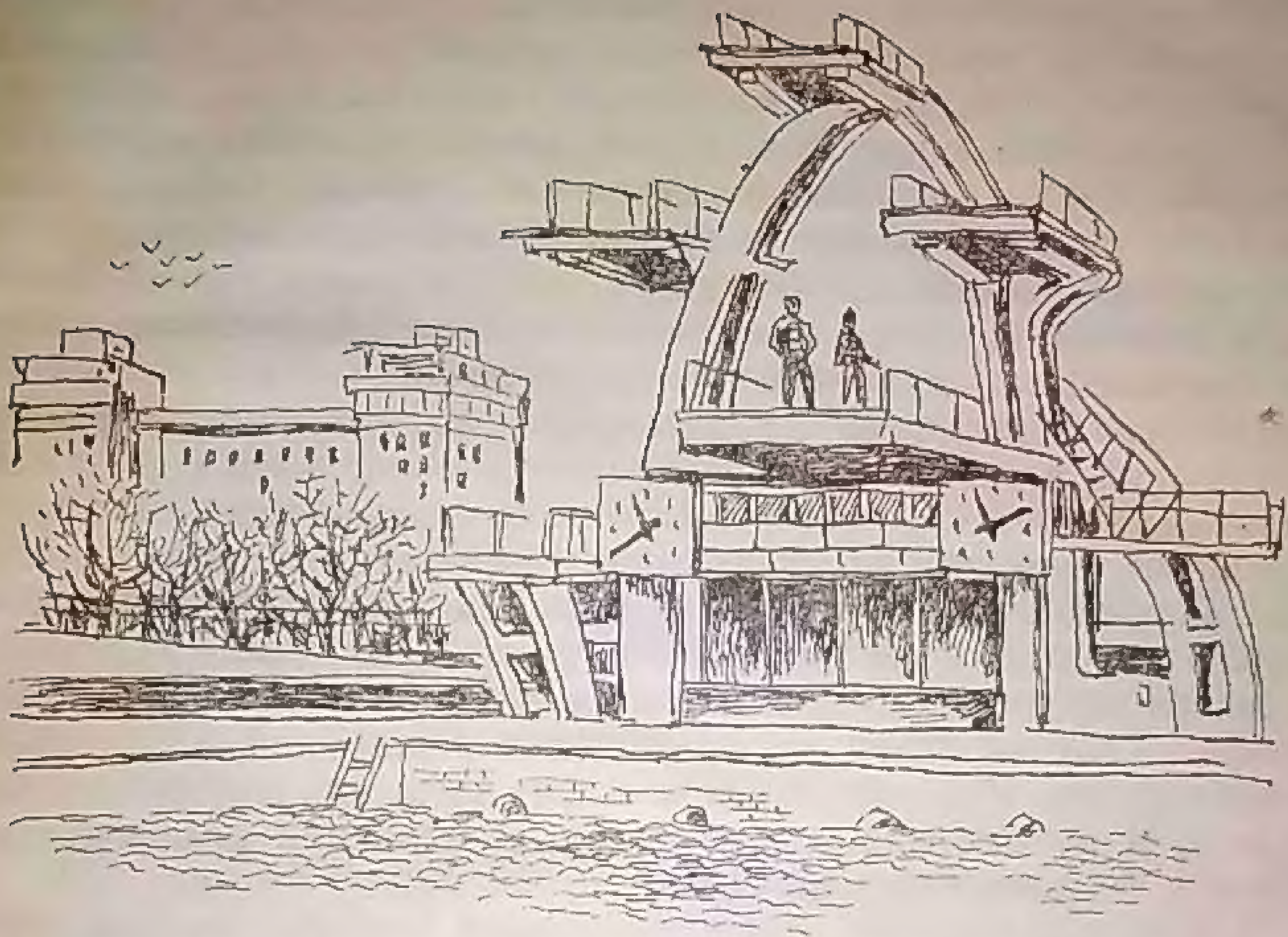
Масс А. В.

М32 Необыкновенная встреча: Повесть/ Рис. Г. Валетова.— М.: Дет. лит., 1979.— 64 с., с ил.

В пер.: 15 коп.

Повесть о девочке-подростке, о ее внутреннем мире, о том, как встреча с высоким искусством наполнила ее жизнь поэзией и красотой.

М $\frac{70803-485}{М101(03)79}$ 242—79 Р2



По каменному, улично-холодному коридору — скорей, скорей, пока тело еще сохраняет распаренную теплоту душа. Ледяные перильца, пять ступенек — первые две над поверхностью, третья — в воде, которая кажется прохладной после горячего душа. Это обманчивое ощущение, оно сейчас пройдет, нужно только сразу окунуться по шейку. Рывком достигаю последней преграды — черного куска резины, который податливо отгибается,— и вот я вплываю в сказку.

Зеленая гладь воды перерезана канатами, унизанными белыми пробковыми колесиками. Под водой бьют упругие горячие фонтанчики, а над водой — пар, живой, движущийся пар, густой, как вата, пронизанный светом прожекторов. В этом сплошном тумане не видно людей, только слышны плеск и возгласы, только иногда рядом с моим лицом шлепнется чей-то резиновый мяч или я ногой почувствую упругий толчок проплывшего мимо меня тела. Но я — сама по себе. Растворяюсь в тумане, плыву в неведомое.

Тут есть даже чудовище — огромный дракон со светящимися глазами-циферблатами, с каменными витыми лесенками,

похожими на сложенные перепончатые крылья. Он, как и всё здесь, плотно укрыт белым паром; но иногда пар прорывается и на секунду возникает рваный прогал, глаза-циферблаты открываются, как глаза Вия, и мне становится даже чуть-чуть страшно, вернее, я играю в то, что мне страшно,— ныряю, изо всех сил работаю ногами и руками — спасаюсь. А иногда, откинувшись на канат, смотрю вверх, жду, когда прорвется белая вата тумана, и, когда она прорывается, вижу высокие дома со светящимися надписями: «Театр эстрады», «Универмаг», «Агентство Аэрофлота». Удивительно не то, что я вижу и узнаю эти здания, а то, что я никак не могу воссоединить себя с той девчонкой в голубом дедероновом полупальто и вязаном красном берете, которая ходит по улицам мимо этих зданий. Я — не она. Я и думаю и чувствую не так, как она. И мне странно видеть эти каменные светящиеся громады из своего зеленого и белого плещущего мира, над которым — и это особенно прекрасно — звучит тихая музыка, словно рожденная этой водой и этим паром. У меня нет имени и фамилии, они мне сейчас не нужны, а нужны мне только плавные движения рук и ног и музыка. Мыслей тоже не нужно.

Но бодрый мужской голос, усиленный мегафоном, уже звучит сквозь туман: «Граждане! Время сеанса заканчивается! Просим вернуться в свой сектор».

Снова пробежка по холодному коридору, горячий душ, испуганная мысль — не потерян ли резиновый браслет с номерком? Нет, на месте, на ноге. Раздевалка. Я отдаю номерок дежурной. Она отпирает мой шкафчик для одежды. Я вытираюсь, одеваюсь и выхожу в гардероб. Голубое дедероновое полупальто и вязаный красный берет. Вот теперь я — это я, Танька Васильева, из восьмого «А», реальная, как вот эта дверь с трещиной на матовом стекле, как учебник по физике, за которым мне еще сидеть по возвращении домой.

Года три назад или четыре — я, кажется, училась тогда в четвертом — бабушка повела меня в театр, на «Синюю птицу». Там была сцена: мальчик Тиль-Тиль и девочка Митиль подошли к царству мертвых. Ночь. Туман такой густой, что чуть видны темные, скорчившиеся от страха фигурки детей. И только упрямо сверкает алмаз на волшебной шапочке Тиль-Тиля. Но вот туман начинает медленно таять, и открывается зеленая солнечная лужайка и веселый, нарядный домик, в котором живут бабушка и дедушка Тиль-Тиля и Митиль. Царство мертвых оказалось совсем не страшным, наоборот, милым, чистеньким, веселым и только потом, в самом конце, чуть-чуть грустным,

в сцене прощания, когда бабушка просит детей вспоминать их с дедушкой почаще. Потому что в воспоминаниях они оживают.

Теперь-то я понимаю что это всего лишь поэтическая метафора, но даже и теперь когда реальная жизнь обступила меня со всех сторон и я, как мне кажется, начинаю входить во вкус разных житейских проблем,— даже и теперь тайными тропами, чаще всего перед сном или когда я бываю одна, ко мне приходит Игра. Раньше, в детстве, она всегда была со мной, и ее было так много, что она переполняла меня, выплескивалась, я жила в Игре, она окружала меня, как многоцветная, но невидимая для других пленка.

Куда она исчезла? И когда? И почему я так болезненно ощущаю это исчезновение? И так жадно ловлю те крохи Игры, которые, вопреки всему, прорываются ко мне тайными тропками? Потому что Игра — это я сама, это мой собственный, привычный мир, где все непонятное — понятно, где все необыкновенное — естественно. Потому что Игра — это гармония, а в мире, где нет Игры, нет и гармонии, все или слишком понятно, или вовсе непонятно, и всего непонятнее я сама.

Вот почему я так часто вспоминаю ту сцену из «Синей птицы»: потому что умерла моя бабушка, и я не могу, могу представить себе, что ее нет нигде и никогда больше не будет. Мертвые живут в наших воспоминаниях — пусть это всего лишь метафора, но есть в ней глубокая, грустная правда.

О бабушке напоминают вещи, которые остались после нее,— у нее было мало вещей, она знала, что не вернется из больницы, и все свое привела в порядок, ненужное выбросила, но, когда человек живет в доме много лет, а потом исчезает, о нем напоминают многие вещи, которых касались его руки, а не только те, что лично ему принадлежали. Место за столом, на которое пока никто не садится, потому что это бабушкино место, собрание сочинений Достоевского, которое бабушка любила перечитывать. Пятый том лежит на рояле, с закладкой посредине. Закладка — открытка с изображением двух гвоздичек, красной и розовой,— это я послала ее в больницу, поздравила бабушку с Новым годом. Всего два месяца прошло, и вот пятый том вместе с открыткой вернулся из больницы, а бабушка...

О ней напоминает большой черный рояль, занимающий добрую треть нашей комнаты: бабушка была преподавателем музыки и до последнего времени к ней ходили ученики, хотя она давно была на пенсии. Ни я, ни мой брат Илюшка не унаследовали ее музыкальных способностей.

Но я любила слушать бабушкину игру. Забиралась с ногами на диван, и слушала, и смотрела на бабушку. Не то чтобы у нее во время игры менялось лицо. Но свет души, который она проливала на всех, как бы сгущался, концентрировался на чем-то одном в эти минуты. Вообще рояль, на котором мы с братом не играли, сам по себе играл в нашей жизни большую роль. Когда я была маленькая, то любила забираться под него и подолгу сидеть в таинственном пыльном закутке, представляя себе пещеру, прирученного мамонта или дно глубокого пересохшего колодца. Илюшка прячется под рояль, спасаясь от наказаний. Он учится на круглые двойки, тем не менее переползает каким-то образом из класса в класс и вот дополз до четвертого. Илюшка со своим неразлучным другом Мишкой хранят под роялем все свои ценности: пластилин, макеты самолетов, кучу железяк, которую они называют стройматериалом, какие-то схемы и чертежи. Основная жизнь проходит у них под роялем. Оттуда долетают шепот, споры и технические слова: «карбюратор», «электролит», «пусковой рычаг», «оболочки», «баллоны с воздухом». Они задумали построить двухместную космическую ракету и улететь от земных неприятностей куда-нибудь в другую планетную систему.

У нас дружная семья. Случаются, правда, вспышки раздражения, чаще всего связанные с безалаберностью и фантастической неуспеваемостью Илюшки (Папа: «Балбес! Дубина стоеросовая! Кто тебе разрешил разбирать мой фотоаппарат! Куда его теперь?! На помойку?» Мама: «Опять вызывают! Я уже, кажется, колею протоптала от дома до школы! Да в кого ты уродился, тупица такой?!» Илюшка, рыдая: «В тебя!..»).

Бабушка не вмешивалась, но и потерпевшие, и нападающие сами бежали к ней, искать спасения и утешения. Бабушка никогда никого не ругала. Я даже не знаю, умела ли она вообще раздражаться. Она только улыбалась мягко и чуть-чуть иронично, и от этой улыбки, от одной какой-нибудь спокойной, простой фразы утихала любая буря. Илюшка уползал под рояль, а мама и папа тихо терзались угрызениями совести (Папа: «Нет, конечно, я не имел права обзывать его дубиной... В чем его вина? Проявил здоровую детскую любознательность». Мама: «В конце концов, многие великие люди в школе учились на двойки. Свифт, Эйнштейн... Пушкин, наконец! И ничего!..»).

Когда маму слишком допекают Илюшкины двойки, она всегда вспоминает Свифта, Эйнштейна и Пушкина. Мне даже



иногда начинает казаться, что эти великие люди тем и велики, что плохо учились в школе. Маму, во всяком случае, это утешает. В ней начинает теплиться надежда, что, может быть, Илюшка тоже станет великим.

— А я сама как училась? — успокаивает себя мама.— Тоже ведь очень неровно. А между тем...

И в тоне ее звучит гордость.

Моя мама — инженер-экономист, но в данном случае она гордится не этим. А тем, что уже несколько лет посещает литературное объединение, пишет стихи и причисляет себя к людям искусства. Она так и говорит: «Я — человек искусства, а не домашняя работница. Хотите есть — купите полуфабрикатных котлет, а на меня не рассчитывайте».

Раньше хозяйством занималась бабушка, а теперь на кухне орудует папа, который, к счастью, не принадлежит к людям искусства, а то бы мы питались исключительно полуфабрикатами.

Папа человек тихий. Он преподает черчение в строительном техникуме, а в свободное время любит мастерить всякие незатейливые хозяйственные штучки — полочки, скамеечки, шкафчик для обуви. Еще он любит рыбалку и бывает счастлив, если удается поехать в зимний день за город, посидеть с удочкой над лункой. Детство его прошло в деревне, и во всем его облике, в манерах сохранилось что-то деревенское — неторопливость, основательность, кряжистость какая-то. В речи мелькают негородские словечки вроде «ледащий» или «почайпили», которые почему-то раздражают маму, а мне нравятся.

Вот странно: бабушки больше нет с нами, но при этом она как бы продолжает жить в каждом из нас. Когда случается что-нибудь хорошее, кто-нибудь из нас обязательно скажет: «Вот бы обрадовалась бабушка!» А если не скажет, то подумает. Должно быть, хорошие люди до конца не исчезают, то тепло, которое они отдавали при жизни, еще долго согревает тех, кого они любили.

В подъезде я столкнулась с Ленкой Варламовой. Мы очень обрадовались друг другу — дня три не виделись.

— Юбку замшевую продала,— сообщила она.— Теперь я кум королю — денег куча. Что в «Стреле» идет, не знаешь?

— «Молчание доктора Ивенса»,— ответила я и предложила: — Пошли в субботу?

Она неопределенно пожала плечами.

— Ты из бассейна?

— Ага.

— Завидую до потери пульса.

— Ну и пошли бы вместе. Там разовый билет запросто можно купить.

— Прямо,— ответила она.— Разбежалась. Разовый билет. А Тяпу на кого?

Ах, Тяпа! Ленкин сын! Совсем о нем забыла! Да ведь трудно представить себе: у Ленки — сын! Она всего на четыре года старше меня. В одной школе учились и дружили с незапамятных времен. Двери наших квартир выходят на одну лестничную площадку, у нас номер 18, а у Ленки — 19.

Лучше Ленки у меня нет подруги. Может, поэтому я ни с кем из класса особенно не дружу. Зато из Ленкиного класса я знала многих и гордилась, что со мной здороваются старшеклассники. Наши кровати стояли рядом, разъединенные только стеной, и однажды нам пришло в голову пробить дырку в стене, чтобы общаться по ночам, как Монте-Кристо с аббатом Фариа в замке Иф. Из этой затеи ничего не вышло — нас поймали на месте преступления. Ленку мать отлупила, а я отделалась строгим внушением. Следы нашей деятельности до сих пор сохранились, их только завесили ковриками. Потом мы выучили азбуку Морзе и перестукивались по вечерам. А теперь на месте Ленкиной кровати стоит кроватка Тяпы, и вместо точек-тире до меня доносятся его требовательные позывные.

Раньше Ленка жила вдвоем с матерью, мать ее, тетя Надя, работала на почте, в отделе заказных писем и бандеролей. Но в прошлом году тетя Надя вышла замуж и переехала к мужу в район Очакова, в двухкомнатную. А эту комнату оставила Ленке с Юрой Петуховым. И все радовались, что так удачно получилось: дочка выходит замуж и мама выходит замуж, и никто друг другу не мешает.

Когда я в первый раз увидела Юру Петухова, он меня просто поразил своей внешностью. Даже у знаменитых киноартистов редко бывают такие благородные лица. Пожалуй, только у Вячеслава Тихонова в роли Штирлица. Но Юра был похож не на Штирлица, а скорее на какого-нибудь жюльверновского героя. Да, вот кого он мне напомнил — лорда Гленарвана из «Детей капитана Гранта». Лорд Гленарван, по моим представлениям, был не молод, и Юра тоже далеко не юноша — двадцать девять лет. Его загорелое лицо обрамляла густая черная борода. Он курил трубку. Говорил он мало, но веско.

Нет, что бы там ни утверждали, внешность — это все-таки очень важно.

А получилось у них с Ленкой так. Ленка после школы сдавала в Институт связи. Она хорошо училась, средняя отметка за аттестат была пятерка. И экзамены сдала неплохо, недобрала каких-то там пол-очка. Ее зачислили, но не на автоматику и телемеханику, куда ей хотелось, а на телефонный, куда был меньше конкурс. Другая бы ухватилась — не все ли равно, на какой факультет, лишь бы в институте учиться. А Ленка не захотела и забрала документы. Решила год поработать, а потом опять поступать. А как раз представилась возможность поехать с геологической экспедицией в Хабаровский край. Туда поступил работать один парень из их класса, Мишка Станкевич, и ее сагитировал.

Она мне потом рассказывала всякие подробности, и я, может, не совсем правильно, но очень ярко представила себе, как они там работали и жили, в тайге. Как они ходили в маршруты, как ставили палатки, как песни пели у костра. Обедали под открытым небом, а полосатые бурундучки прыгали вокруг и таскали остатки еды. Ленка меня своими рассказами о тайге просто взбудоражила. Я никому ничего пока не говорю, но про себя решила... Не знаю, насколько это твердо. Пока что это только мечта, часть моей Игры.

Однажды, спускаясь с горы, Ленка подвернула ногу. Мишка, ее напарник, дотащил ее до лагеря. Там она и оставалась по целым суткам, пока остальные ходили в маршруты. Ей дали ружье и научили стрелять, на случай, если в лагерь забредет медведь. А случаи такие, по рассказам бывалых геологов, довольно часты — медведи идут на запах пищи. Ленка отсиживалась в палатке со своим ружьем, ела всухомятку и тряслась от страха в ожидании медведя. Но медведь не пришел, а вместо него однажды прилетел на вертолете Юра Петухов, инженер-геофизик, курирующий работу партий.

Я не знаю, что это такое — «курировать», но это неважно. Зато я четко вижу, как все это было. Ленка услышала гул приближающегося вертолета, вылезла из палатки и увидела в небе черную точку, которая становилась все больше и больше и наконец превратилась в красно-голубую машину, похожую на стрекозу. Вертолет начал кружить над лагерем — искать место для посадки. Ленка схватила красную косынку и, прихрамывая, опираясь на палку, двинулась к посадочной площадке. Она была за лагерем, и ее трудно было разглядеть среди деревьев. Ленка махала косынкой до тех пор, пока вертолет

не начал снижаться. Он опустился на землю — и вот тут воображение рисует мне всевозможные варианты первой встречи Ленки и Юры. Сама Ленка не рассказывала мне подробностей их первой встречи — может, стеснялась,— но как раз этот момент представляется мне наиболее волнующим. Может, потому, что я сама мечтаю о такой вот необыкновенной встрече, которая перевернет вверх тормашками всю мою упорядоченную и довольно скучную жизнь. Но как бы там ни было, ясно одно: они полюбили друг друга с первого взгляда.

Через неделю за Юрой пришел вертолет. С этим вертолетом улетела и Ленка — нога не проходила, врача в их маленьком отряде не было, и Ленка улетела в поселок, где расположилась геологическая база и где была больница.

Когда Ленка в октябре вернулась домой, я едва ее узнала. Дело даже не в том, что она отощала, загорела, научилась курить и приобрела кучу несвойственных ей грубоватых выражений типа: «разбежались в белых ботах», «самое то», «обалденно»,— которые ей не очень-то шли. Нет, дело было совсем не в этом. Ленка вообще стала другой. Может быть, это выражалось в том неинтересе, с которым она выслушивала мои лагерные приключения. Может быть, в той свободе, с какой она теперь стала разговаривать с мальчишками,— раньше она отличалась большой застенчивостью. Она теперь не стеснялась подводить глаза и красить веки у нас в прихожей перед зеркалом, даже в присутствии моего папы. В общем, она как-то сразу из девчонки превратилась в женщину.

Юра часто бывал у Ленки, и тетя Надя, чтобы им не мешать, уходила в кино или сидела у нас, обсуждая с моей бабушкой или папой — мама по вечерам редко бывала дома — создавшуюся ситуацию. Ее волновало, как будет дальше, ведь Ленке учиться надо, а она мечтает весной опять поехать в экспедицию вместе с Юрой. И неизвестно, собираются ли они расписываться. Ленка молчит, но ведь так тоже не дело.

Юра объяснил Ленке, почему он не может сейчас на ней жениться: его мать жутко тяжелый человек, да к тому же она сейчас больна, ее нельзя расстраивать. А она вбила себе в голову, что Юра должен жениться на дочери ее лучшей подруги. И ни о каких других невестах слышать не хочет. Заранее их всех ненавидит. А Ленку она к тому же мельком видела, из окна, когда они проходили мимо Юриного дома, и Ленка ей категорически не понравилась — мини-юбкой, распущенны-

ми волосами, вообще всем своим обликом. Она обозвала Ленку «эта нынешняя». Она ненавидела «этих нынешних».

Юра передавал Ленке все эти подробности в юмористической форме. Правда, мне казалось немножко странным, как это Юра, в свои двадцать девять лет, такой мужественный, с трубкой,— и до сих пор подчиняется маме, которая диктует ему, с кем можно гулять по улицам, а с кем нельзя. Я поделилась с Ленкой.

— А что ему остается? — сказала она.— Она ведь у него — того!..

И она с сочувственным выражением покрутила пальцем у виска.

— Жалко,— сказала я.— Значит, не будете жениться?

— А зачем мне штамп в паспорте? - возразила Ленка.— Нужен он мне сто лет в обед. Главное — это любить друг друга.

В мае они снова уехали в экспедицию. И оттуда Ленка прислала письмо, что через пять месяцев у нее будет ребенок.

Тетя Надя как раз в это время расписалась со своим Николаем Ивановичем. Этот Николай Иванович не вдруг появился, он существовал в тети Надиной жизни уже несколько лет, и она только из-за Ленки не решалась за него выйти. А теперь все сложилось как нельзя лучше: и квартира есть, и работу она нашла близко от дома, и у Ленки с мужем и ребенком будет своя комната. Тетя Надя не сомневалась, что уж теперь-то они сразу же по приезде распишутся.

Вот тут начинается непонятное. Конечно, я знаю, что встречаются на свете непорядочные типы и даже подлецы. Правда, самой мне еще ни разу не приходилось сталкиваться с подлостью и непорядочностью. Да, наверно, они существуют, но где-то там, далеко от меня и от окружающих меня близких людей. Так мне казалось. И уж, разумеется, Юра Петухов, с его внешностью лорда Гленарвана, не мог совершить ни того ни другого. А если мог...

Ленка вернулась месяца через три, одна, без Юры. Ну, это понятно, он не мог бросить работу, а Ленке в ее состоянии опасно стало ходить в маршруты. Да и питание в поле плохое, в основном консервы.

Непонятно было другое: от Юры — ни одной весточки. Ленка волновалась — вдруг с Юрой несчастье? Звонила в экспедицию, но ей отвечали, что все в порядке, никаких ЧП не было.

Тем временем у Ленки кончились деньги, заработанные в поле,— она купила сапоги на платформе, еще какие-то вещи «на после родов». А на приданое не осталось. А роды вот-вот должны были наступить.

Тетя Надя помогла бы, но Ленка врала ей, что у нее полно денег. Юра со дня на день должен был приехать, Ленка ждала его, она была уверена, что с его приездом разрешатся все сложности.

Но однажды — я как раз сидела у Ленки — ей позвонил Мишка Станкевич, и оказалось, что партия уже неделю как вернулась.

— И Юрка? — спросила Ленка.

— Конечно,— ответил он.

На Ленкином лице было только удивление — она еще думала, что тут какая-то ошибка. Она позвонила Юриной матери и попросила Юру. Должно быть, та поинтересовалась, кто его спрашивает, потому что Ленка сказала:

— Его жена.

Она произнесла это уверенно, даже немного нахально, потому что ведь и в самом деле была его женой. Просто еще не успели поставить штамп в паспорте.

И вдруг я увидела ее лицо. Вспыхнувшее, потрясенное. Растерянные глаза. Дрогнувшие бледные губы. Словно она хотела что-то сказать, да так и не решилась. Молча опустила трубку. Наверно, постороннему человеку она показалась бы сейчас очень некрасивой — бледная, с покрасневшими глазами, с большим животом, на котором едва сходилась старая вязаная кофта. Я не посторонняя, мне Ленка кажется красивой всегда. Но я испугалась, потому что в первый раз увидела на ее лице это потрясенное выражение.

— Что она тебе сказала? — спросила я.

— Она сказала: «Юрина жена сидит сейчас передо мной, и, если хотите, я передам ей трубку».

— Так, может... Ты же сама говорила, что у него мамаша с приветом?

— Не похоже по голосу. Нормальный такой голос.

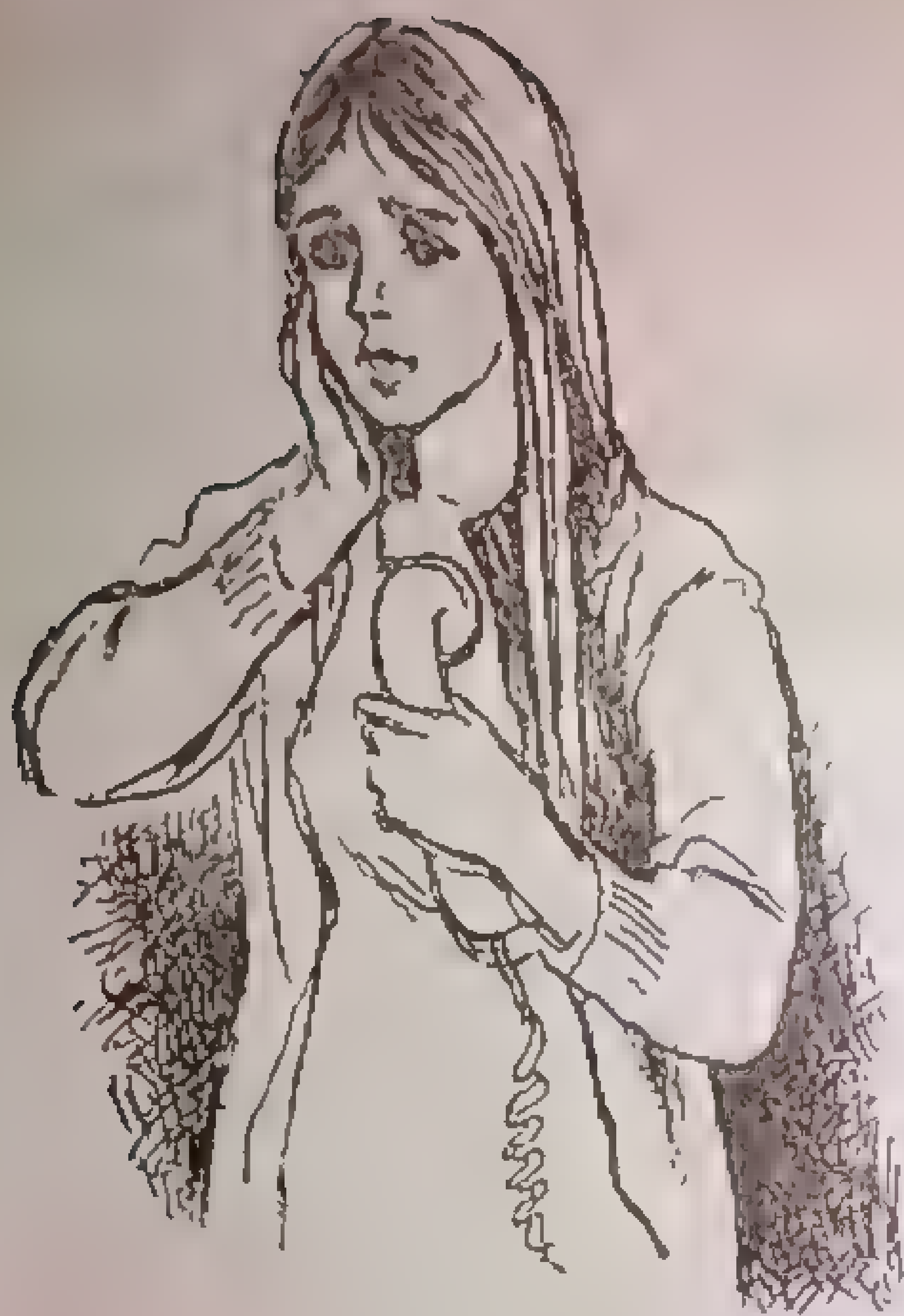
— А чего же она трубку бросила?

— Это я бросила.

— Ну и дура. Надо было до конца все выяснить. Ты еще раз позвони!

— Не могу,— сказала она.— Боюсь.

— Ну, хочешь, я позвоню! И попрошу эту самую жену к телефону. Хотя я уверена, что ты не так поняла.



— Не надо жену. Ты только спроси, сам-то он вернулся с поля или еще нет?

Я набрала номер, продиктованный Ленкой. На том конце провода послышался взволнованный женский голос:

— Да-да!

На меня отчего-то напало смущение. Я молчала. А женский голос требовательно повторял:

— Да-да! Кто это? Это вы сейчас звонили?

— Нет, это ее подруга...— растерянно произнесла я.

— Передайте ей трубку! Пожалуйста!

Я передала Ленке трубку:

— Она с тобой хочет говорить.

Ленка нерешительно произнесла:

— Я слушаю...

Раскрывалась тайна. Но от этой тайны не захватывало дух, как когда-то, когда мы с Ленкой исследовали по вечерам чужие дворы, забирались в опустевшие, обреченные на слом дома. Нет, это была совсем другая, нечистая тайна, в ней не было Игры, а было тоскливое чувство крушения надежд. И обиды за Ленку.

— Да,— говорила Ленка тусклым, равнодушным голосом.— Уже полгора года. Да, вместе работали. Нет, давно вернулась. Потому что мне рожать недели через две. Да. Нет, он мне ничего не говорил. Нет, не звонил. А мне ничего и не надо. Можете не говорить, что я звонила.

Но должно быть, Юре все-таки передали, что она звонила, потому что он в тот же день пришел к ней, и у них произошел последний разговор. Мне было неудобно выспрашивать, а Ленка не вдавалась в подробности. Сказала только, что Юра и правда женат, вот уже шесть лет, жена у него кандидат наук. А про мать — это он нарочно Ленке врал, чтобы она не звонила и не приходила. И что сейчас, после Ленкиного звонка, мать и вправду заболела — от огорчения.

Ленка родила в ноябре. Детским приданым ее, конечно,

обеспечили: и тетя Надя с Николаем Ивановичем, и мы, и школьные подруги, и друзья из экспедиции — все нанесли подарков, даже больше, чем нужно. Тетя Надя уговаривала Ленку переехать к ним, в двухкомнатную, хотя бы на первых порах, но Ленка сказала, что ей одной легче, и осталась в старой комнате. Несколько раз приходила Юрина мать, еще не старая, хорошо одетая и, видно, очень следящая за собой дама. Она говорила, что ей стыдно за сына, предлагала ежемесячную помощь. Но Ленка от денег отказалась.

Тяпа смешной, крохотный такой, но уже веселенький. Его на самом-то деле зовут Андрюшкой, но все так привыкли — Тяпа и Тяпа. Я даже иногда завидую Ленке, что у нее появилась такая славная игрушка. Я с удовольствием хожу с ним гулять, гордо качу коляску, и мне хочется, чтобы все думали, что это мой сын.

У меня иногда возникает чувство, будто я прочитала небольшую повесть с грустным концом. Короткую повесть о любви, о том, как красиво она началась и как буднично закончилась.

Как-то я спросила Ленку:

— Вот если бы можно было начать сначала: со дня окончания школы. Ты бы уж, наверно, не забрала документы из института! Жалеешь, что забрала?

Мы сидели у нее в комнате. Тяпа спал. Я, в который раз, рассматривала красивые минералы, замшелые камни, лосиные зубы — память о Ленкиных экспедициях. Она ответила:

— Я и так буду учиться. А что было — то было. Жалко только, что он таким ничтожным оказался. Лучше бы умер! Я бы им тогда всю жизнь гордилась... Он один раз чуть не утонул. Лодка перевернулась. Выплыл, гад. Только ружье утопил.

Она помолчала и грустно добавила:

— Жалко.

Я так и не поняла, чего ей жалко — утопленного ружья или того, что Юра не утонул. А скорее всего, ей было жалко своей любви.

В нашем восьмом «А» очень сильный комсомольский актив. Сплоченная группа — человек двенадцать. Все они и до вступления в комсомол держались вместе, а теперь образовали — как принято выражаться — ядро класса и гордость школы.

Это и в самом деле сильная группа — и по успеваемости, и,

главное, по особому складу характеров,— все они уже примерно представляют, куда пойдут после школы, и работают в этом направлении: читают специальную литературу, посещают кружки при Доме ученых и даже при университете.

Я в это ядро не вхожу. Не потому, что не хочу. Очень хочу, но не подхожу по характеру. Мой характер — это что-то расплывчатое, я не могу обосновать своих взглядов, у меня не хватает доводов, чтобы доказать свою точку зрения, да и самой точки зрения у меня, пожалуй, еще нет. Им такие не нужны. Иногда они снисходят до меня, дают общественное поручение — написать заметку в стенгазету, принять участие в обсуждении книги.

Я пишу и принимаю участие, но я тупой исполнитель, это я читаю в их взглядах на меня – сверху вниз. Да, есть у них сознание «элитности», этакого превосходства над «серой массой», к которой они меня причисляют. Что ж, я не навязываюсь. У меня тоже есть чувство собственного достоинства.

Кроме этого ядра, в нашем классе есть еще одно ядро, так называемые «безыдейные». Среди них тоже есть комсомольцы, но только так, по названию.

Эти учатся кое-как, потому что школа для них — просто вынужденная необходимость, а основной интерес — магнитофонные записи всяких западных знаменитостей, вечеринки, джинсы с разноцветными заплатами, фильмы и книги любовного содержания.

В это ядро я тоже не вхожу по характеру. Но это второе ядро чем-то мне ближе — хотя бы отсутствием высокомерия.

Оба ядра почти не взаимодействуют. Иногда те, кто вроде меня оказались вне того и другого, вдруг попадают в сферу притяжения и становятся, в зависимости от того, к какому из ядер они примагнитились,— или «элитой» или «безыдейной».

Одна я что-то никак не могу примагнититься. Болтаюсь сама по себе и, конечно, в глубине души очень страдаю от этого.

Почему так получилось? Не знаю. Впрочем, сама виновата. Когда я мысленно пытаюсь представить себя ученицей первого, четвертого, даже седьмого класса, я вижу согнутую над столом спину, исчерканную черновую тетрадку, я вспоминаю чувство усталого самоуважения и опять слышу за своей спиной осторожные шаги бабушки и мамин почтительный шепот: «Неужели все еще занимается?»

Во главе угла моей жизни всегда стояла хорошая отметка. Я добывала ее тяжким трудом. Она была моим идолом, кото-

рому я приносила в жертву свою дружбу с классом. Я была типичной зубрилой, и этим определялось мое отношение к миру. И отношение мира ко мне. Прилежная девочка с косичками, я ни в ком из класса не вызывала особого интереса. Ко мне никто не тянулся, и я ни к кому не тянулась.

Правда, у меня была Ленка, моя отдушина для озорства и фантазий, но с ней я находилась как бы вне школы. Для школы я продолжала оставаться все той же примерной зубрилой.

Во всем я видела подтверждение своей заурядности. Даже в том, что меня почти никогда не ругали. Иногда мне хотелось совершить что-нибудь из ряда вон выходящее, пусть даже плохое, только чтобы на меня обратили, наконец, внимание, но я боялась. Постепенно я привыкла к своей заурядности и уже не пыталась выделиться.

Бабушка лучше других меня понимала. Она водила меня в театры и подсовывала книги, не предусмотренные программой, но такие, которые будоражили меня, рассказывали о чем-то таком, что было важнее хорошей отметки. Нет, бабушка, конечно, не хотела, чтобы я плохо училась, но ее тревожили — теперь я понимаю это — мои куриные крылья, на которых я могла взлететь не выше насеста приличной успеваемости. Ее радовало, когда я дарила ей неумелые рисунки с изображением сказочных дворцов, принцесс, синих птиц и другой девчачьей ерунды,— она видела в этом какой-никакой, а все-таки полет фантазии, полет выше насеста.

Бабушка не знала, что со мной всегда оставалась Игра. Иногда мне даже казалось, что она-то и была моей настоящей жизнью, а то, что происходило в действительности, было просто серым фоном. В Игре все обретало яркость и необыкновенность. Я была красавицей. Уходила в далекие путешествия. Моими спутниками были самые выдающиеся личности нашего и Ленкиного класса. В жизни они едва замечали меня, но в Игре я возводила их до собственного уровня.

Я даже Ленке об этом не рассказывала. Чувствовала, что Игра от пересказывания потускнеет, как тускнеют и оглупляются самые захватывающие сны, когда их пытаешься пересказать. Наверно, потому что и в снах, и в моих мечтах были не столько события, сколько ощущения событий, а передать ощущения очень трудно и стыдно отчего-то.

И вот в какой-то момент я почувствовала, что освободилась от школы, вернее, от ее строгой направленности на успеваемость. Я продолжала учиться по инерции, и эта инерция, набранная долгими годами честного усердия, теперь служила

мне хорошую службу. Но отметка потеряла для меня свое прежнее значение. Моя жизнь стала ожиданием необыкновенной встречи.

Я рассматривала себя в зеркале. Стала придирчивее к своим платьям. Раньше все это проходило мимо.

По этой ли простой причине – укороченная форма и стрижка, которая, по общему мнению, шла мне, а может, потому, что я впервые внимательно взглянула на свой класс и заинтересовалась его таинственной «внеобщественной» жизнью,— но только и класс тоже внимательно взглянул на меня. «Элитное» ядро — со снисходительным интересом, а «безыдейное» — просто с интересом. Галка Портнова сказала:

— Слушай, почему ты раньше не носила «мини»? У тебя же потрясные ноги!

А Лешка Самсонов, довольно красивый парень по кличке «Амбал-малютка», вдруг подошел ко мне на перемене и дружески предложил:

— Слушай, приходи ко мне в субботу на день рождения.

Впервые меня приглашал на день рождения мальчишка из нашего класса. Да еще красивый.

— А то девчонок не хватает,— добавил он, но это ничуть не омрачило моей радости.

Мама разговаривала по телефону. Папа чинил торшер. Илюшка возился под роялем. Поверхность рояля — подобие свалки: ваза с засохшими цветами, пыльные фарфоровые статуэтки, проигрыватель, белый плюшевый слон — голова пришита к туловищу черными нитками, причем задом наперед. Пластинки, книги, глобус — все вперемешку.

Тот же хаос и развал во всей комнате. Посреди обеденного стола — клетка с Илюшкиными хомяками, от которой сильно пахнет зоопарком. Раньше клетка стояла на подоконнике и хомяки баловались со шторой – затаскивали ее в клетку и грызли. Здесь, на столе, хомяки угрожали только вазе с фруктами, а изгрызенная штора так и висела сосульками.

— Что?.. Ну что ты.. — говорила мама в телефонную трубку.— Ну, Наташка, не преувеличивай . Серьезно? Да, но я боюсь, что это не поймут. Да? Ты считаешь!.. Может, ты где-то права...

Папа смотрит на меня. Я смотрю на папу. Мы улыбаемся. А в общем, нам обоим нравится мамино увлечение. Может быть, мы даже ей немного завидуем. Мне нравится, что у моей мамы выражение лица вдохновенное, а не мелко-озабоченное,



как у большинства женщин ее возраста. На их лицах я читаю мысли о тушеной капусте, о замоченном белье, и мне становится приятно, что моя мама не такая. Не знаю, принадлежит ли она к людям искусства. Может, и нет. Ну и что же?

Мама положила трубку и некоторое время сидела в задумчивости, устремив взгляд в угол, куда папа временно смел осколки разбитой чашки. Потом она обратила свой взгляд на папу и сказала:

— Все-таки как это важно, когда кто-то верит в твои творческие возможности. Это так окрыляет!

В ее тоне прозвучал упрек. Папа сосредоточенно орудовал кусачками. Мама вздохнула и обратилась ко мне:

— Что ты мыкаешься по комнате? Ты что-нибудь ищешь?

— Нужен подарок ко дню рождения.

— Кому? — поинтересовалась мама.

— Одному, из нашего класса. Лешке Самсонову.

— Мальчик пригласил тебя на день рождения?

Мне показалось, что мама приятно взволнована этой новостью. Ее удивляло, что я не дружу с классом, что мне редко звонят по телефону, вообще, что я не компанейская. Сама-то она была даже слишком компанейская. На работе она была

профоргом, собирала деньги, организовывала походы в театры, дни рождения, юбилеи. Кроме того, она постоянно поддерживала связи со школьными и институтскими друзьями, кому-то помогала, что-то устраивала, была в курсе всех их личных дел.

Мои дела ее тоже, конечно, интересовали. Но она была так переполнена заботами о других, что просто не имела возможности в них углубиться. Тем более, что я не давала ей особых поводов к беспокойству.

Но с некоторых пор — или это мне казалось? — она стала внимательнее ко мне присматриваться. По-моему, ее немного огорчало то, что мальчишки мною совершенно не интересуются. Разумеется, она мне никогда прямо об этом не говорила, но такие вещи чувствуются.

То, что я сама не интересуюсь мальчишками, ее даже радовало, она видела в этом цельность моей натуры. Она так и говорила: «У Тани цельная натура, она не разменивается».

Мама видела во мне то, что ей хотелось видеть. Я не интересовалась мальчишками, поскольку они мною не интересовались. И если честно, то мое равнодушие было чисто показным. Мне так хотелось кому-нибудь понравиться — хотя бы для самоутверждения, хотя бы для того, чтобы кто-нибудь из знакомых или из класса увидел меня с *ним*, и все бы стали обсуждать тот факт, что *он* жутко влюбился в Таньку Васильеву. Я была заранее так *ему* благодарна, если, конечно, существовал такой, что моя благодарность была почти уже влюбленность. Ожидание необыкновенной встречи стало во мне чем-то вроде навязчивой идеи. Эта встреча могла произойти где угодно — на улице, по дороге из школы, в бассейне, в троллейбусе. Поэтому, куда бы я ни шла, каждый мой маршрут, кроме своей непосредственной цели, сопровождался еще одной, тайной, целью: а вдруг!..

Но ничего не происходило. Девчонки из «безыдейного» ядра с возмущением рассказывали о нахальных типах, которые пытались завязать с ними знакомство на улице. Я видела, что возмущение их показное, а на самом деле они гордятся, и я понимала их гордость. Они достигли того этапа в своем развитии, когда с ними завязывают знакомство на улице. Но ведь и я вроде достигла такого этапа, а со мной еще никто не искал знакомства. А мне этого хотелось. Но признаться в этом я могла только самой себе. Если бы мама знала о моих тайных мыслях, она бы не говорила о цельности моей натуры.

— А чем он интересуется, этот Леша? — спросила мама.

— Не знаю.

— Я почему спрашиваю: если он собирает марки, то у папы где-то сохранился альбом. Он когда-то увлекался.

— А может, просто книгу? Я что-то не уверена, что он собирает марки...

— Можно и книгу,— охотно согласилась мама.— С хорошей надписью. Что ж, книга — это прекрасный подарок. А что, ты с ним дружишь, с этим Лешей?

Я пожала плечами.

— А почему вдруг он пригласил тебя на день рождения?

— Да просто так. Девчонок не хватает.

— А...— сказала мама и вздохнула.— Ну что ж, подари ему «Королеву Марго». А в чем ты пойдешь?

— Не все ли равно. Джинсовый костюм надену.

— Не-ет! — возмутилась мама.— Не в поход идешь! Я хочу, чтобы ты выглядела женственно. Ты уже девушка и должна ощущать, как тебе одеться, чтобы нравиться.

Все просто ждут не дождутся, чтобы я кому-нибудь понравилась. Ну что ж, я сама этого хочу. «До потери пульса» - как сказала бы Ленка.

— Да-а... Уже девушка! — повторила мама и задумалась.— Ужас, до чего быстро! Коля, а ведь мы с тобой тоже познакомились на дне рождения. Помнишь, Коля?

— Да-да,— сказал папа, обматывая провод изоляционной лентой.— Только не на дне рождения, а на свадьбе.

— Что ты, Коля! Я прекрасно помню — на дне рождения у Толика! Я была еще в такой кофточке с погончиками, тогда это было модно.

— Это была его свадьба.

— Нет, день рождения.

Мои родители женаты уже лет семнадцать. Неужели и я когда-нибудь забуду, где и при каких обстоятельствах я познакомилась со своим будущим мужем, если я, конечно, выйду замуж?

Но вот интересно: почему мои родители, которые не очень четко помнят о своей первой встрече, живут вместе вот уже семнадцать лет и любят друг друга — в этом я нисколько не сомневаюсь,— а, например, у той же Ленки ничего не получилось с семейной жизнью? Значит, дело все-таки не в том, как познакомились? И все же, и все же...

— Нужно убрать с рояля весь этот хлам,— сказала мама.— Придет оценщик, неудобно.

— Какой еще оценщик? — спросила я.

— Мы тут с папой посоветовались и решили продать

рочать,— объяснила мама.— Что, в самом деле? Никто на нем не играет. Это раз. И потом он занимает чуть ли не треть комнаты. А нам и так тесно.

— Жалко,— сказала я и подошла к роялю. Сколько помню себя, столько помню и его. Стол, стулья, книжный шкаф, тахта — все это мебель. А рояль — он как живое существо, он звучал под пальцами бабушки, и во всем его облике было что-то живое, неуклюжее, симпатичное.

— Жалко,— согласилась мама. - Конечно, память о бабушке. Но с другой стороны...

Все ясно. Об этом уже ходили разговоры, но все как-то мимо. Илюшке нужен отдельный угол. Можно оборудовать ему даже комнату, если разгородить нашу большую комнату стенкой. Папа сам берется это сделать. Тогда и у меня будет отдельная. Рояль хороший, за него дадут порядочную сумму, а нам деньги не помешают...

— Если бы ты еще играла...

Впервые я пожалела, что не играю. Впрочем, я умела подбирать мелодии. Но что говорить об этих жалких упражнениях!

Я открыла черную крышку и тронула клавишу. Рояль тихонько отозвался, словно робко попросил: «Не продавайте!..»

И слово-то какое противное — «оценщик»...

На лестничной площадке было три двери, я сразу догадалась, в какую мне,— по джазу, по празднично-возбужденным возгласам.

Мне открыл Лешка, в коридор сразу вывалился народ — я в первый момент не всех даже узнала: девчонки были разодетые, с подведенными глазами. Особенно Галка Портнова выделялась — на ней было платье «макси», волосы распущены по спине, в ушах серьги.

Я сразу стушевалась, почувствовала себя школьницей на балу, да так оно и было. На мне платье в мамином вкусе — шерстяное клетчатое, в складочку. Считается, что мне идет спортивное. Не знаю, может, и идет, но не здесь. Сегодня я выпадаю из общего стиля.

Особенно меня смутил стол — с бутылками вина, с обильной, красиво разложенной закуской. Закуска — ладно, но вот вино!

На Новый год папа впервые разрешил мне выпить бокал шампанского. Чувство легкого опьянения показалось мне очень приятным. Впрочем, я и не опьянела вовсе, только весело стало и свободно. Дядя Толя, папин товарищ, посмотрел на



меня и сказал: «А Танька от вина хорошеет!» Мне запомнилась эта фраза, и осталось убеждение, что я от вина хорошею.

И сейчас, когда через открытую дверь комнаты я увидела на столе вино,— эта мысль снова мелькнула.

Я сунула Лешке книгу и вошла в комнату. Там на диване сидел, развалившись, парень в джинсах и свитере. Он читал журнал «Наука и жизнь», но даже в те секунды, пока я еще не видела его лица, я поняла, что это — *он*. Не поняла, а меня пронзило ощущение, что вот сейчас, вот оно! То, чего я ждала.

Он выглядел взрослее всех присутствующих. Совсем взрослый. Особенно это было заметно по его манере курить. Он курил спокойно, привычно — не так, как это делают наши мальчишки: нервно, с оглядкой, боясь, что их застукают и поведут к директору, или, наоборот, бравируя.

Он щелчком стряхнул пепел в стоящую рядом на столике тяжелую пепельницу, отложил журнал и посмотрел на меня. Даже не посмотрел, а оглядел с ног до головы, так же неторопливо, как затягивался сигаретой и листал журнал.

Странно то, что меня ничуть не возмутил этот бесцеремонный взгляд, я восприняла его как нечто полагающееся к столу, к магнитофонной музыке, к Галке Портновой с сигаретой,

зажатой между двумя пальцами,— не подозревала, что Галка курит, впрочем, это меня не удивило.

Выпуская мне в лицо сигаретный дым, Галка тихо сообщила:

— Это Лешкин брат, Олег. Его тут за взрослого оставили. Предки ушли на весь вечер. Сила, да?

Я старалась не смотреть на него, но краем глаза все равно смотрела. Все остальные гости как бы размылись, хотя с кем-то я говорила, что-то делала, кажется, резала колбасу.

До меня долетела его фраза: «У нас на факультете». Из этого я сделала вывод, что он студент. «У нас в стройотряде»,— говорил он. Кажется, я уже очень многое о нем знала!

Внезапно вынырнул Галкин голос:

— Да садитесь же за стол! Лешка, ты хозяин, чего не приглашаешь?

— А чего? Сами все разбрелись по углам! Давайте, садитесь!

Все начали рассаживаться, я тоже плюхнулась на какой-то стул и очутилась рядом с Олегом. Вскочила, рванулась куда-то в сторону, но он взял меня за руку и усадил обратно.

— Тебя как зовут?

— Таня,— ответила я робким голосом.

Он начал что-то рассказывать, наверно, смешное, я не улавливала, застенчивость совсем меня скрутила. Особенно потрясло, что он обращается ко мне, именно ко мне, и я смеялась, ничего не понимая, так, из благодарности.

— Вы не так расселись! — крикнула Галка. – Олег, ты рядом со Светкой, а Танька пусть отсядет к Лешке!

— Нет, я с Таней,— сказал Олег и положил мне руку на плечо.— Она тут самая маленькая, и я беру над ней шефство.

— Не меньше других! — сказала Светка, щуря подведенные глаза.— Мы с ней по возрасту одинаковые.

— То по возрасту! — заметил Олег и повернулся ко мне: — Вина выпьешь?

— Конечно!

«Я от вина хорошею!»

— Ты вообще-то пила когда-нибудь?

— Конечно! Шампанское!

— Ну, я тебе сухого налью. Полрюмки хватит?

— Да чего ты с ней? Наливай полную! — влез Лешка.— А то чего? Все будут пьяные, она одна трезвая?

— Я вот тебе покажу «все будут пьяные»! Разошелся!

— За Лешку!

— Амбал, расти большой, не будь лапшой!

Рюмки сошлись хрустальным букетиком, я с кем-то чокалась, не замечая с кем. Букетик разошелся, все сели.

— А со мной? — Олег протянул мне свою рюмку.— Ну, до дна, за знакомство!

Вино было красным, горьковато-терпким, в общем, пить можно, хотя и невкусно. Последний глоток я пропихнула в себя с трудом. С облегчением отставила рюмку и схватила кусок ветчины — заесть.

— Нормально,— заметил Лешка.— Пьешь, как старый алкоголик.

Почему-то его слова показались мне очень остроумными.

— Я вообще не пьянею,— сказала я.— Могу сколько угодно выпить. Хоть на спор.

«Я от вина хорошею!»

— Ты закусывай, закусывай, а то с непривычки...

Светка чиркнула спичку и закурила. И Светка курит! Вот это новость! Она набирала в рот дым, отчего щеки ее надувались, и резко выпускала его. Но сигарету держала с шиком, на отлете. Она поймала мой изумленный взгляд и сказала:

— Танька, слабо еще одну полную выпить!

— Да? Слабо?

Я сама себе налила и выпила. Это было другое вино, не такое кислое. Но все равно, до чего же невкусно! А ведь другие пьют — и ничего!

— Ну и как? — спросил Олег.

— Нормально! — ответила я и захохотала.

— Танька-то окосела!

Кто это там высказался? Галка, что ли?

— Да? Ничуточки! Сама пьяная!

У меня все кружилось перед глазами, но было весело, застенчивость отпустила, я почувствовала, что могу говорить свободно. И уверенность появилась, что я не хуже других девчонок.

— Ну, ты даешь! — сказала Галка.— А в школе такая тихоня!

— Кто это там о школе? — крикнула Светка.— О школе забыть! Запрещенная тема!

— Кто про школу скажет — с того фант! Сегодня забыли про все! Только веселиться!

А мне и так было весело, больше некуда. Лешка вынул пачку сигарет и протянул мне. Не всерьез, а так, шутки ради. Я вытащила сигарету и сунула в рот.

— Ты что, дурак? — сказал Олег Лешке и попытался взять у меня сигарету, но я не дала. Что я, маленькая? Девчонки курят — и я буду!

— Ну, смотри,— сказал Олег.— После пожалеешь!

Он сам поднес мне зажигалку. Я вдохнула дым и закашлялась.

— Васильева сошла с тормозов,— прокомментировал Лешка.— Наконец-то.

— А какая была скромная девочка! Приятно вспомнить! — Это Галка.

— Да отстаньте вы от меня! — Это я так, мне приятно, что я в центре внимания, это меня подстегивает, хочется еще чем-нибудь всех удивить. Всех? Олега, вот кого. Я еще раз попробовала затянуться — дымом обожгло легкие, ух, до чего противно!

— Нормально! — поощрил меня Лешка.

Заладил одно и то же. Кстати, это вовсе не нормально, увидел бы меня сейчас кто-нибудь из домашних или из учителей. Эта ненужная мысль вильнула хвостиком где-то на поверхности мозга и ушла в глубину. Вот уж правда дурацкая мысль!

— А танцы будут? — слышу я свой собственный голос.

— А правда, пошли танцевать! Эй, кто-нибудь, маг включите!

...Не надо печа-алиться,
Вся жизнь впереди!
Вся жизнь впереди,
Надейся и жди!

Пытаюсь встать со стула. Меня шатает, все плывет. Эх, не надо было пить вторую рюмку!

...Не надо печа-алиться!..

Мы танцуем с Олегом. Вернее, топчемся на одном месте, потому что тесно и танец медленный. Танец? Скорее, объятие. Все плывет, плывет...

Хорошо, что потушили верхний свет, почти темно, только чуть-чуть пробивается свет из второй, полузакрытой комнаты. Голова кружится, а когда закрываешь глаза, она начинает кружиться еще сильнее. Если он меня отпустит, я упаду. Но он не отпускает. Медленно продвигает меня в этом танце-объятии сквозь танцующие пары и останавливается у окна. Окно закрыто плотной шторой, он отодвигает ее и снова задвигает. Теперь мы отделились от всех. Он берет меня за талию, приподнимает

и сажает на подоконник. Теперь его лицо на одном уровне с моим.

Сейчас это случится. Вот она — необыкновенная встреча. У меня сердце стучит так, что я слышу его удары...

— Васильева, тебя к телефону! Васильева, ты где?

Штора откидывается. Галкино любопытное лицо.

— А, вот вы где! Извините, что нарушила. Ну, Васильева, ты даешь! Тебя к телефону.

Я выхожу, пошатываясь. Телефон в другой комнате, там, где горит свет. Он режет глаза, отрезвляет. Я падаю на тахту, беру трубку.

— Да!

— Таня, когда ты снимала с рояля барахло, тебе не попадалась такая серая папка?

— Да,— отвечаю я. - Не попадалась. А может... Не помню.

— Ты что, выпила? — в мамином голосе удивление.

— Нет,— отвечаю я.— Одну рюмку. Вернее, полторы.

— Этого еще не хватало! Когда ты придешь?

— Не знаю! Еще никто не уходит! Когда все уйдут, тогда и я.

Мама еще что-то говорит, но я бросаю трубку. Все испортила! Исчезло наваждение. Осталась комната, телефон, шкаф с большим зеркалом, в котором я вижу красворожую растрепанную девчонку, некрасиво сидящую на тахте — ноги носками внутрь.

Зачем она позвонила? Я сама виновата — оставила записную книжку на столике в передней, а там Лешкин адрес и телефон.

Из большой комнаты — музыка, голоса, звон посуды. А в голове моей смутно и пасмурно.

Но надо идти, Олег ждет.

Не хочется.

Зачем только мама позвонила! Серая папка ей, видите ли, понадобилась. Не нашла другого момента.

Я тащусь в большую комнату и вижу, что Олег танцует со Светкой. Она положила обе руки ему на плечи, а он обнял ее, и они топчутся на одном месте, она что-то говорит, подняв к нему лицо, а он дует на прядку волос, закрывающую ей глаз.

Светка покосилась на меня и что-то сказала Олегу. Он оглянулся, дружески кивнул мне и снова повернулся к Светке.

Я села на диван и, чтобы показать свою независимость, стала переворачивать страницы журнала. Это было глупо, я не

могла прочитать в темноте ни строчки, даже картинки сливались в сплошные серые пятна, но я упорно листала журнал.

Никто не обращал на меня внимания, но мне казалось, все только делают вид, что увлечены танцами, а на самом деле наблюдают за мной, видят мое поражение и злорадствуют.

Танец кончился и тут же сменился другим. Светка, не снимая руки с плеча Олега, подвела его к столу, и они стали что-то есть.

Комната кружилась. Запах сигаретного дыма вызывал тошноту. А когда я вспоминала, как сама затянулась сигаретой, ощущение тошноты становилось еще сильнее. Мне захотелось домой, в чистоту и тепло собственной постели, но я продолжала сидеть на диване и играть в независимость. Для того чтобы очутиться дома, в постели, нужно было встать с дивана, пересечь комнату под всеобщими взглядами, надеть пальто, открыть входную дверь... А еще нужно было говорить какие-то слова, объяснять, почему ухожу, улыбаться... А я не могла улыбаться.

Никто не подходил ко мне.

Когда я вспоминала свое недавнее ликование, свою идиотскую развязность, мне становилось так стыдно, что хотелось исчезнуть, провалиться сквозь пол, забыть и не вспоминать!

Пока не зажгли свет... Пока Олег не смотрит... Мало ли, зачем мне нужно в коридор... Только бы успеть пересечь комнату раньше, чем кто-нибудь окликнет меня.

Никто меня не окликнул. Я сорвала с вешалки пальто, не надевая его, открыла дверь, осторожно захлопнула ее за собой и помчалась вниз по лестнице. Свободна!

И тут же слезы хлынули из глаз так, что я должна была остановиться где-то между четвертым и третьим этажом, переждать, успокоиться. Дальше я уже не бежала, а спускалась медленно, ступенька за ступенькой. Никто за мной не гнался, никто и не заметил моего ухода, и от этого снова захлестывало чувство разочарования и обиды.

У подъезда, подняв воротник болоньи, стоял папа.

— А вот и ты,— сказал он спокойным, домашним голосом.— А я вышел пройтись перед сном, дай, думаю, мимо пройду, может, встречу, вместе пройдемся.

— Неправда! Специально ждал! — мрачно уличила я его.— Что ты за мной ходишь, как за маленькой? Я не маленькая.

— Ладно, что там, маленькая не маленькая — пошли! — Папа решительно взял меня под руку, и я послушно пошла рядом. Даже торопливо, потому что у подъезда горел фонарь, а мне не хотелось, чтобы папа видел мое зареванное лицо.



Мы шли по слабо освещенному переулку. Папа о чем-то спросил — я не ответила. Тошнота подступила к самому горлу, я еле успела добежать до урны.

Папа вынул платок и вытер мне лицо. Он молчал.

— Ну? Ругай меня! — сказала я папе.— Что же ты меня не ругаешь?

— Ну как, полегчало? — спросил он спокойно.— Вот как раз телефон-автомат, я сейчас маме позвоню, скажу, что все в порядке, и мы с тобой еще погуляем. Проветриться. Идет?

— Звони,— вяло ответила я.

Он зашел в будку, а я осталась снаружи и вдруг обнаружила, что идет дождь, и пахнет весной, набухшими почками. Меня всегда радовал запах весны — в нем было обещание нового, хорошего, неожиданного. И даже сейчас этот запах вошел в меня сквозь горечь моего состояния и пообещал: это пройдет, забудется, затянется, как царапина. Мне хотелось верить, но я знала: что было — то было. И долго еще будет саднить.

— Ну, все в порядке,— сказал папа, выходя из будки.— Пойдем. Лучше тебе?

— Это от вина,— призналась я.— Две рюмки выпила.

— Да я уж понял, - ответил он.— Ничего, бывает. Человек все должен на себе испытать, и плохое и хорошее. Поняла, какая это гадость — вино?

— Поняла.

— Ну и все. Извлекла урок.

— Никогда больше не буду пить.

— Ну и правильно.

Больше мы не говорили на эту тему. Папа сказал, что они с мамой возьмут отпуск в конце июня и мы всей семьей отправимся в путешествие — в Карелию.

— Там такие озера! Выберем какую-нибудь деревню, какая понравится. А то и просто можно в палатке, на берегу озера. Ох и красивые там места! Я там бывал, давно, правда. Попросим у хозяев лодку, будем рыбачить, уху варить, а? Красота! Комарья там, правда, много, да это ничего. Запасемся жидкостью антикомарной — и все дела. Я Илюшке уже сказал, он от радости до потолка прыгал.

Очень я люблю своего папу. Придя со службы, он со вкусом обедает, ложится подремать с полчасика, а потом принимается за какое-нибудь дело — чинит кресло, ставит новый выключатель. Всегда что-то сосредоточенно паяет, строгает, вырезает. И борщ успевает сварить. Иногда он даже строчит на швейной машинке. Мне недавно расклешил брюки по моде.

От папы не приходится ждать никаких неожиданностей, разве только поздно придет иной раз с работы, да и то, как потом выясняется, только потому, что заедет по дороге в ГУМ или хозяйственный за какими-нибудь там планками, рейками, молотком для отбивания мяса.

Даже когда он делает нам подарки, эти подарки или заранее обговорены, или представляют собой что-нибудь такое, что полезно в хозяйстве: мне — колготки или туфли, Илюшке — слесарные инструменты, которые он тут же раскидывает по всем углам. Маме он на все праздники дарит нейлоновые чулки по два пятьдесят, это стало уже традицией. Духи мама покупает себе сама, потому что папа в них ничего не понимает. Иногда он дарит маме цветы, но после многократных напоминаний. Он считает, что дарить цветы — не целесообразно, лучше за те же деньги купить килограмм апельсинов.

Ну, нет у моего папы крыльев, а кому от этого плохо? Зато если он обещал, то выполнит. Если он видит, что кому-нибудь нужна помощь,— он помогает. Не только близким или друзьям, иногда и вовсе незнакомым.

Вот сейчас он говорит со мной о предполагаемом путешествии. Он все подробно рассчитал — и во сколько нам обойдутся билеты, и сколько мы истратим на еду, и мне кажется, что лично ему в этом путешествии важно одно: обеспечить нас необходимым, окружить нас всеми возможными удобствами — в этом он видит чуть ли не смысл жизни.

Он очень хороший человек, мой папа, не знаю, что бы мы без него делали.

Не лучше ли обходиться без крыльев?

Зато никто его не собьет в полете, и он не шлепнется с высоты мечтаний на землю, и не будет ковылять, волоча за собой подбитые, саднящие крылья, как вот я сейчас.

Разлетелась... В белых ботах, как сказала бы Ленка.

И все же, и все же... Еще бы раз — но по-другому.

И опять бассейн, мое спасение, мое очищение от всех грехов. Я стою под тугими струями душа и моюсь, моюсь так, словно хочу смыть с себя налипшую грязь. Это чувство нечистоты преследует меня с того самого вечера. Уже несколько дней прошло, а я все не могу отмыться. Как болезнь. Я снова намыливаю мочалку и тру себя, тру.

Ну, хватит! Скорее снова погрузиться в сказку, забыть обо всем неприятном, раствориться среди зеленой воды и белого тумана.

Две пожилые женщины моются в кабинках напротив, громко переговариваются сквозь потоки воды:

— Сколько калорий сегодня потеряем, Мария Николаевна?

— Ах, Лидия Ивановна, спасибо, что вытащила! Я тут молодею на десять лет.

Так уж и молодеет. Никуда ей от своего возраста не убежать. Ну и что? Для нее бассейн — реальность, не сказка. Пришла сбросить лишний вес.

Я натягиваю купальник на мокрое тело, бегу по холодному каменному коридорчику, погружаюсь в прохладную воду, откидываю резиновую заслонку. Вот сейчас... Сейчас...

А что сейчас? Где она — сказка? Где чудище с глазами-циферблатами? Обыкновенная вышка с часами, с прозаической надписью на серой стенке: «С бортика не прыгать!» А мальчишки все равно прыгают, разбрызгивая воду, и я отплываю от них подальше, где поменьше народу. Но и там нет сказки — что такое? И белого тумана нет — куда он девался? Очень просто — весна наступила, тепло, вот и растаял туман. Гладкая зеленая вода, перерезанная канатами,— все обыкновенно. Может, это растаял туман моей Игры?

Мне скучно, вот что! Я одна! Я завидую даже этим двум пожилым подругам из душа, которые сейчас проплывают мимо меня в кокетливых шапочках из нейлоновых лепестков. Обе они в очках, и держат головы высоко над водой, и плавно разводят руками. Их лица обращены друг к другу.

— А мне эта статья показалась интересной.

— Ну что вы, Лидия Ивановна, набор трескучих фраз, не более того!

И у меня вдруг всплывают тезисы к домашнему сочинению о Печорине. Заразилась я, что ли, от этих теток?

...Духовное одиночество Печорина.

— Девушка, вы каким это стилем плаваете? — Мокрое лицо с прилипшими усиками. Уставился.

— Никаким!

— Хотите, я вас научу стилю «брасс»?

Вот оно, «уличное знакомство», о котором ты, кажется, мечтала! Все очень просто. Нужно только ответить: «Да, хочу» — и знакомство завязалось.

— А вы не были на выставке импрессионистов?

— Была!

— Жалко... а еще раз не хотите пойти?

Согласиться?.. А потом чувство нечистоты, гадливости к самой себе?

— Идите вы подальше, вместе с вашими импрессионистами!

— Фу, какая невежливая девушка!

Знакомство не состоялось... Гордись, ты устояла на этот раз.

...Жалко. А вдруг все это было бы совсем не так? А вдруг...

Но где сказка? Где моя Игра? Я ловлю себя на том, что все время поглядываю на светящийся циферблат. Двадцать минут до конца сеанса. Вот я сейчас обогну весь сектор, и останется пятнадцать минут. Что за цель такая — разгребать руками воду, двигаясь от каната к канату, завидовать истошным воплям мальчишек, торопить время?

Я возвращаюсь под своды своего сектора и вылезаю из воды. Ничего не получилось.

В большом зале с кабинками для одежды пусто. Две дежурные в белых халатах, уютно пристроившись в уголке за столиком, пьют чай с шоколадными батончиками. Я называю свой номер, и одна из женщин, рыжая, с полной, но гибкой фигурой, сейчас же встает, идет к моему шкафчику, отпирает его и берет у меня браслетик с номером.

— Что мало поплавала? — спрашивает она у меня без особого интереса и, не дождавшись ответа, отходит, советуя на ходу: — Побыстрей растирайся, гляди-ка, вся в мурашках.

Она возвращается к прерванному чаепитию, и я, растираясь, слушаю разговор о том, что Ольга из седьмого сектора вышла замуж за клиента, а на ее место взяли такую скандальную бабу, что все напарницы от нее воют, никто с ней работать не хочет. И что порошок арабский был вчера на Смоленской, но за ним такая очередь, что пропади он пропадом!

Все живут в реальном мире, и только я одна, как дура, бегу от него в закоулки собственной души. Не очень-то приветливо встречает меня взрослая жизнь. Может, потому, что я сама к ней неприветлива? Она кажется мне скучной, с ее житейскими интересами, с этими вот разговорами о стиральном порошке, о калориях. Мне хочется от нее чего-то более возвышенного, но вечеринка у Лешки — а ведь это был кусочек взрослой жизни, причем праздничный, а не повседневный,— не принесла мне никакой радости. Может, я еще просто не созрела для таких вечеринок?

Да что я, не такая, как все, что ли?

А что я знаю про других? Что я вообще знаю о людях?

Но ведь и они ничего не знают обо мне.

У каждого своя подводная часть, как у айсберга.

А может, моя подводная часть не так уж велика, как мне

это представляется? Кто ее измерял? Но как бы там ни было — она моя. Никому я ее открывать не собираюсь.

Да кто на нее посягает, на твою душу? Скажи лучше, тебе как раз это и обидно, что никого ты особенно не интересуешь. Да, именно это тебе и обидно.

Дома была мама с Илюшкой. И два рослых парня — один в замшевом пиджаке, другой в черно-белом финском свитере с оленями. Илюшка сидел на тахте, среди кучи своего любимого железа, и с печальным интересом наблюдал за действиями парней. Это и были «оценщики» из комиссионного магазина.

С бабушкиного рояля были сняты все вещи, даже покрывало. Рояль стоял голый, как на осмотре у врача.

Оценщики подняли крышку, обнажив внутренности рояля — пыльные струны и молоточки, светили в глубину фонариком, ударяли по клавишам. Рояль стыдливо выставил напоказ все свои царапины, стершийся лак, следы времени и наших издевательств. Там, сзади, было выцарапано по черному лаку: «Таня», а к боку прилепился кусочек пластилина.

Профессиональные руки оценщиков ощупывали, обстукивали, рояль послушно отдавался этим рукам, жалобно отзывался на удары.

Я отодвинула железяки и села на тахту, рядом с Илюшкой.

...Закрыла глаза и увидела бабушку, как она садилась на круглую табуреточку, поднимала крышку и не сразу начинала играть, а некоторое время тихо сидела, сжимая и разжимая пальцы, подняв лицо, словно настраиваясь на игру, вызывая в себе далекие-далекие воспоминания. Она готовилась.

Но вот она опускала пальцы на клавиши, и я слушала и *видела* то, что она играет, как будто музыка была прозрачными серебряными струями, за которыми оживали прекрасные бабушкины воспоминания...

— Это ведь очень хороший рояль,— сказала мама.— Старинный. «Блютнер».

— Видим, что хороший,— сказал тот, что в свитере.— Струны слабоваты. В тысячу шестьсот рублей можно оценить.

— В тысячу шестьсот? — переспросила мама. Я видела, что она приятно поражена такой огромной суммой.

— Выписывать квитанцию? — спросил тот, что в пиджаке.

— Ну что ж, выписывайте, пожалуй,— с деланным равнодушием сказала мама.— Да, а как его перевезти? Это сложно?

— А вот с этой квитанцией и с паспортом пойдете в магазин, закажете грузчиков, они все сделают.



Оценщик в замшевом пиджаке выписал квитанцию, и мама приняла ее с таким почтением, словно это уже были деньги.

А я-то гордилась, что моя мама выше житейских интересов. Мне нравилось, что она как бы не от мира сего. А она — ого! — своего не упустит!

— А сколько вы удержите комиссионных?

— Восемь процентов, как с любой вещи.

— Ага, значит, на руки я получу... Это будет что-то около тысячи пятисот... Как вы много удерживаете!

Она была мне неприятна в эти минуты. Бабушка плакала во мне, бабушка, память о которой с такой радостью выдворяли из нашего дома.

Оценщики взяли рубль за осмотр и ушли.

— Что вы на это скажете? — уже не скрывая радости, обратилась к нам мама.— Тысяча пятьсот! Да ведь это же огромные деньги! Я и не думала!..

— Как ты можешь!..

Мама замолчала и внимательно на меня посмотрела. Когда она снова заговорила, в ее голосе слышались виноватые нотки.

— Да ведь он правда нам не нужен! А кому-то он, может,

необходим! Может, кто-то мечтает как раз о таком! Пианист какой-нибудь. А у нас? Мебель, и все.

— Нет, не мебель! — мрачно заметил Илюшка.— Это мой дом.

— А ты вообще молчи, двоечник! — в сердцах сказала мама.— Опять вызывают! Это просто пытка какая-то!

Илюшка привычно сгорбился и полез под рояль. И вдруг горько заплакал. Видно, представил себе, как ему будет плохо без своего верного прибежища.

— А тебе лишь бы денег побольше,— сказала я маме.

— Ну и что? — ответила она, и виноватых ноток больше не слышалось в ее голосе.— Да, нам нужны деньги! Потому что у нас большая семья и мы не всегда можем уложиться! Да, я думаю о деньгах, и ничего стыдного в этом нет! Это реальная жизнь, только и всего! А ты, в свои пятнадцать лет, живешь на всем готовеньком, и, конечно, ты можешь себе позволить витать в облаках, не думать о прозе жизни. О том, как бы дотянуть до зарплаты. Я бы тоже этого хотела! Но я не могу!

Мне нечего ей возразить. Она права. Снова меня выносит на твердую почву реальности. Эта проклятая реальность — как каменистый берег, как город с однотипными домами и улицами. Я стою на самой кромке берега и могу еще ненадолго погрузиться в волны, поплавать, но уже отмель под моими ногами, уже не океан за моей спиной, а жалкий водоемчик, а я уже взрослый человек, мне пятнадцать, пора вылезать на сушу и приниматься за дела.

За какие дела? У меня одно дело — учиться. На носу экзамены. Мы уже написали контрольное сочинение — я получила четверку.

...На днях ко мне подошла Галка и спросила:

— Ты куда это смылась тогда так неожиданно? Олег про тебя спрашивал.

— Олег? — сыграла я удивление.— Какой Олег?

— Надо же,— озадаченно сказала Галка.— А ты ему, по-моему, понравилась.

На всех уроках я сидела и думала об этой Галкиной фразе. Возвращалась домой — и снова думала об этом.

Понравилась не понравилась — неужели отныне это станет для меня самым главным в жизни? До чего же я обеднела!

Одно за другим уходит то, что меня так волновало в детстве. Даже не то что уходит — просто теряет волшебство, определяется, становится обыденным. Каждое новое знание словно ворует у меня то, чем я была богата прежде. Незнание лучше.

В своем незнании я жила предвкушением, ожиданием, оно рисовало мне невероятное. Знание отнимает веру в необыкновенное, и это грустно. Мне кажется, приобретая знания, я становлюсь не богаче, а беднее.

Я раздумывала: не пойти ли после восьмилетки в училище? Приобрести специальность, стать самостоятельной — в этом было что-то заманчивое. Останавливало вот что: я не знала, в какое училище пойти,— не определился еще основной интерес. И кроме того, мама и папа в один голос заявили, что я должна закончить десять классов. Там уж мое дело — попытаюсь ли я поступить в институт или пойду работать, но аттестат об окончании десятилетки я должна иметь. Ну что ж, это меня в какой-то степени успокоило — еще два года не думать о будущем.

Ленкс — вот кому туго приходилось. Она устроила своего Тяпу в ясли и сама поступила туда на работу — поварихой. Ее сменщица постоянно бюллетенила — то у нее болели дети, то она сама болела,— и Ленке приходилось работать в две смены — с семи утра до семи вечера. Мы с ней почти не виделись теперь, а когда я все-таки забегала — вечером или в воскресенье,— я находила ее такой усталой, что ей было не до разговоров. Я помогала ей искупать и уложить Тяпу, постирать его вещички — на том и оканчивалось наше общение: Ленка валилась на постель и засыпала.

Да, ребенок тяжким грузом лег на Ленкины плечи. Он резкой гранью отделил ее прошлое от настоящего. Ведь я помню, какой она была еще совсем недавно. А теперь она волнуется по поводу того, что капусту в ясли привозят гнилую, а мясо — одни кости, не из чего делать котлеты.

Неужели и моя жизнь в один несчастный день вот так же замкнется и наступит период, который отрежет все то, что было раньше? Не хочу становиться взрослой!

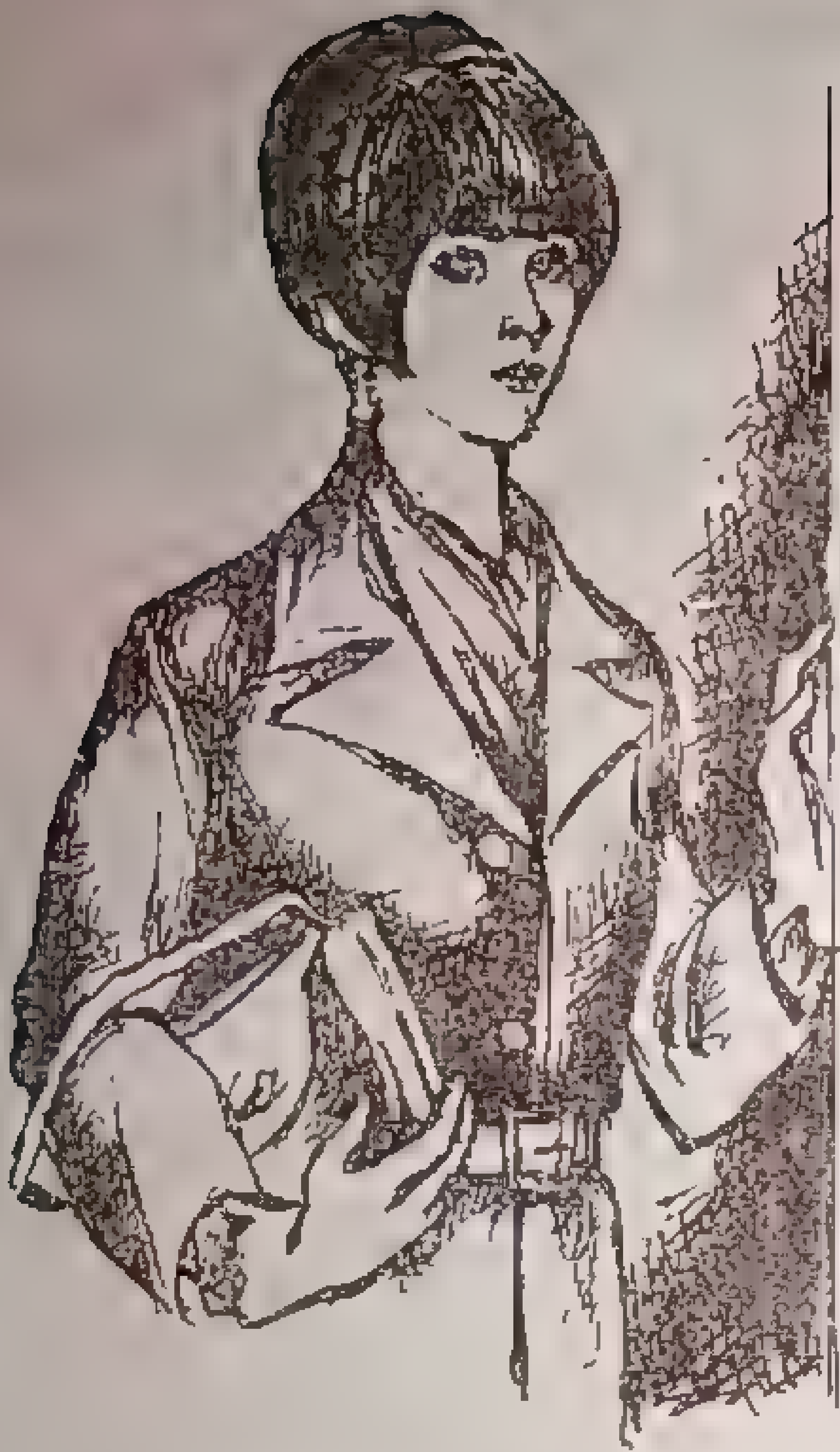
А собственно, что у меня сейчас? Учеба, к которой я потеряла интерес? Друзья? Да я ни с кем, кроме Ленки, и не дружу по-настоящему. Книги? Ну, книги останутся.

Почему же я так держусь за все это, почему я боюсь все это потерять? Разве мне так уж интересно жить? Разве мне так уж весело и легко? Нет, мне чаще грустно.

В дверь позвонили, резко и длинно.

— Таня, открой! — крикнула мама из кухни.— Я работаю!

Она работала в это воскресенье, конечно, не над борщом и не над котлетами. Просто она любила писать стихи на кухне.



Я открыла. На площадке стояла довольно молодая, красивая женщина. Ее немножко портил только большой, хрящеватый нос и излишне, пожалуй, тонкие губы. Впрочем, я где-то читала, что такие лица считаются аристократическими. Она была очень хорошо, со вкусом одета — не шикарно и не сверхмодно, а именно так, как одеваются преуспевающие, обеспеченные, уверенные в себе женщины. А может, как раз ощущение того, что она хорошо одета, придавало ей уверенность в себе.

Самое интересное то, что я почему-то сразу догадалась, кто она такая. И даже не удивилась, когда она спросила:

— Могу я видеть Лену Варламову?

— Она вот в той квартире живет, напротив,— объяснила я.

— Ах, простите! — она повернулась, подошла к Ленкиной двери и позвонила.

Открыла соседка, Янина Григорьевна, бывшая учительница. Сейчас она была на пенсии и весь свой накопленный жизненный опыт старалась вложить в Ленку. Учила ее жить. Доводила ее до тихого бешенства своими поучениями.

— Вам Леночку? — предельно вежливо переспросила Янина Григорьевна.— Прошу вас, входите! Леночка-а! К тебе-е!

Наверно, только что закончилась еще одна беседа о том, как надо жить (только так, как живет Янина Григорьевна) и как нельзя жить (разумеется, так, как живет Ленка). Ленка вышла зареванная (ну точно, была беседа), в домашнем халатике, растрепанная. Молча уставилась на гостью.

— Вы... Лена? — удивленно спросила та.

— Да, а вы кто?

— Я... Я от Юры...— Она замялась, взглянула на соседку, которая буквально сделала стойку при этих словах, потом оглянулась на меня. Я тоже смотрела во все глаза.— Мне бы хотелось поговорить с вами...

Я закрыла дверь. Все равно мне Ленка все расскажет.

— Кто это приходил? — спросила мама, выходя в коридор. В одной руке у нее была пишущая машинка, в другой — стопка бумаги.

— Это не к нам. Это к Ленке пришла знаешь кто? Юрина жена!

— Да? И что она от нее хочет?

— Вот и мне интересно! Сейчас дождусь, когда она уйдет, и узнаю. Мам, а ты как думаешь, зачем она пришла?

Мама вошла в комнату, поставила машинку в угол, а бумагу положила на письменный стол. У нее был усталый вид. Папа с Илюшкой уехали с утра за город к какой-то папиной тетушке, а мама половину воскресенья провела за пишущей машинкой. Все-таки героическая она женщина, не в пример своей дочери.

— Что-то уж слишком тебя волнуют Ленкины дела,— сказала мама.— И совсем не волнуют свои. Ты не готовишься. Ты плохо сдашь экзамены. Вообще это не та дружба.

— Что-о? Может, ты сама будешь назначать, с кем мне дружить? Ленку, значит, осуждаешь?

— Ну зачем ты сразу на дыбы,— примирительно сказала мама.— Как я могу ее осуждать? За что? Наоборот, я уважаю ее за стойкость. Но мне кажется, что она стала для тебя чуть ли не примером для подражания. Ты даже интонации ее перенимаешь. А она никак не может служить примером для подражания. Я это не в осуждение, пойми. Просто я не хочу, чтобы ты совершила подобную ошибку.

— Я и не совершу. Она-то влюбилась, а мне не в кого влюбляться.

— Вот это и плохо. У тебя мало друзей. Когда у человека много друзей, у него есть на кого равняться, есть из кого выбирать. А ты пойдешь за первым, кто тебя поманит, вот чего я боюсь.

— «Есть из кого выбирать»! Чепуха! Мы не выбираем, нас, девчонок, выбирают! Начиная с танцев — и вообще, всегда! А ты сама — выбирала? Просто тебе повезло, что папа оказался хорошим человеком и твоя судьба сложилась...

— Ты считаешь — сложилась? — задумчиво переспросила мама.

— А ты что, сомневаешься?

— Нет-нет, что ты,— сказала она.— Как раз моя-то судьба сложилась очень удачно. Когда это ты научилась рассуждать? Я за тобой этого раньше не замечала.

— Ты многое не замечаешь,— буркнула я.

Мама сама вызвала меня на этот резкий тон. Зачем она вмешивается в мои отношения с Ленкой? Мне дороги эти отношения. «Я не осуждаю»,— сказала мама. Но в самой этой фразе заключалось зернышко осуждения. Сложилась — не сложилась. Еще посмотрим!

Я услышала, как хлопнула дверь Ленкиной квартиры и вниз по лестнице простучали твердые каблучки. Подождала немного для приличия и пошла к Ленке. Открыла мне Янина Григорьевна.

— Ушла,— сообщила она мне таинственным шепотом.— Какая интересная женщина! Нет, но я просто поражаюсь нынешним мужчинам. Вот в наше время...

Ленка была на кухне, варила кашу Тяпе на ужин.

— Зачем она приходила? — спросила я.

Ленка помолчала, размешивая кашу. Потом ответила:

— Просит отдать им Тяпу.

— Как отдать?

— Вот так. Насовсем. Говорит, Юра переживает из-за ребенка. Он детей безумно любит, а у нее не может быть детей.

— Почему?

— Не знаю. Говорит, отдайте нам ребенка, так будет лучше для обеих сторон. У нас прекрасные условия — квартира и все такое. Отец профессор. Нам, говорит, для полного счастья не хватает только ребенка. Я, говорит, даже думала взять из детского дома, но когда узнала, что у Юры ребенок...

— А ты что?

Ленка взглянула на меня и вдруг заплакала. Слезы так и брызнули у нее из глаз. Она продолжала размешивать кашу, только отвернулась, чтобы слезы не попали в кастрюльку.

— Она мне и слова не дала сказать. Все доказывала, что Тяпе у них будет лучше. Говорит, мы вас не торопим, вы подумайте. Говорит, вы — молодая, у вас еще все впереди, а ребенок связал вас по рукам и ногам...

— В этом есть свой смысл, Леночка! — Янина Григорьевна вошла и встала у плиты.— Я краем уха случайно услышала. Она верно рассуждает! К тому же ты отдашь его не в чужую семью, а к родному отцу!

Ленка посмотрела на нее с ненавистью.

— Что верно? Что верно? Все лучше меня знают, что мне нужно! Тяпу им отдай! Разбежались в белых ботах! А я... А без меня он...

Она вытерла слезы фартуком, сняла кастрюльку, перелила кашу в тарелку и понесла в комнату. Я пошла за ней.

— Ты можешь предложить ей компромиссное решение,— сказала нам вслед Янина Григорьевна.— Ведь можно устроить так, чтобы он часть времени жил у них, часть у тебя.

— Вот именно, что нет! — сказала Ленка.— Она хочет, чтобы Тяпа обо мне вообще забыл! Мне ведь и мать Юркина несколько раз звонила, предлагала взять Тяпу. Я думала так, в смысле помощи, а у них, видно, все это обговорено давно. Им ребенок нужен для полного счастья!

Тяпа увидел Ленку с кашей и заскакал от радости. Она усадила его на детский стульчик, повязала салфетку и стала кормить. Тяпа разевал рот, как птенец.

— ...А может, они ребенку вовсе не нужны! Может, ему одна я нужна! Правда, Тяпа?

Он улыбался и тянул ручонку к Лениным волосам.

В тот же вечер, уложив Тяпу, Ленка пришла к нам ужинать. Моя мама сама пригласила ее на торт. Видно, маме было неловко, что она утром высказалась о Ленке не очень хорошо. За тортом Ленка рассказала маме о посещении Юриной жены.

— Ну что ж? Заманчивая идея! — сказала мама.— А что? Все проблемы решаются разом. Тяпа еще маленький, он быстро привыкнет к новой семье. К тому же ведь Юра-то ему не чужой! Он будет воспитываться в более культурных условиях — ты уж прости меня, Лена, но ведь это правда! Что ты можешь ему дать в культурном отношении? А питание? Ведь это тоже очень важно. Тебе же будет спокойнее, если ты будешь знать, что твой ребенок хорошо питается, нарядно одет, ухожен...

Ленка уже не ела торт, а слушала ее, закусив нижнюю губу и катая по столу чайную ложечку.

— Даже если его и отдадут в ясли,— продолжала мама,— то уж, будь спокойна, в самые что ни на есть образцово-показательные. А ты вернешься к прежней жизни. Ты ведь способная девочка, кому и учиться, как не тебе? Начнешь все сначала. По-моему, это даже очень интересно — начать все сначала. И все то, что с тобой произошло, останется только в воспоминаниях. Или как будто это случилось с другим человеком...

Ленка слушала, возила по столу чайную ложечку.

— ...И потом: не сразу же. Подумай, обсуди с мамой. Отдай его сначала на время — ну, на недельку хотя бы. А ты бы отоспалась, отдохнула... Сходила бы куда-нибудь...

В глазах у Ленки появилось мечтательное выражение. Я знала, о чем она мечтает: Мишка Станкевич пригласил ее

поехать с ним и еще с несколькими ребятами с его факультета на конкурс студенческой песни, за город, с субботы на воскресенье. Мишка при мне рассказывал об этих ежегодных традиционных конкурсах, которые проводятся где-нибудь в лесу, почти тайно — для интереса, – и куда съезжается куча студентов. Сам Мишка еще только недавно стал студентом и хотя уже успел жениться, но на конкурс еще ни разу не ездил, только мечтал поехать. Сам хорошо пел под гитару.

Раздался звук ключа, поворачиваемого в замочной скважине. Это папа с Илюшкой вернулись наконец из гостей.

— Спасибо,— сказала Ленка и встала из-за стола.

— Куда же ты? Еще чаю с тортом!

— Нет, я пойду,— сказала она.— Мне завтра к семи на работу.

Три дюжих грузчика втащили бабушкин рояль в магазин через черный ход. Мама сидела у столика товароведа, ждала, пока оформят документы, а я смотрела, как грузчики собирают рояль — привинчивают ножки, двигают, запихивают в угол, чтобы не мешал в проходе. Он стоял отчужденный, и уже какие-то люди, покупатели, подходили к нему, по-хозяйски открывали крышку, брали аккорды, и он отзывался им, послушно и грустно,— так мне казалось.

И снова он показался мне живым — очень уж он сливался с образом бабушки, — я как бы снова прощалась с ней, снова — навсегда. Я и с собой прощалась, такой, какой я уже никогда не буду,— рояль уносил с собой мои игры, мои мысли, следы моих рук. Мне захотелось погладить его или хотя бы дотронуться — в последний раз, но я стеснялась и только смотрела, смотрела, и глаза мои заволакивались слезами.

Подошла мама с квитанцией в руке, порозовевшая от удовольствия, что все произошло так быстро, без волокиты. Она сказала:

— Все в порядке, пошли, — и мы направились к выходу.

Но когда мы вышли на улицу, освещенную ярким апрельским солнцем, я вдруг почувствовала, что не могу уйти, не взглянув в последний раз на то, с чем были связаны все мои детские годы.

— Я сейчас...— пробормотала я.— Платок забыла.

— Ну вот,— недовольно сказала мама.— Поскорее только.

Я вбежала в сумрачный, тесный от мебели зал и увидела, что на рояле уже стоит пластмассовый ценник. Старичок-товаровед взглянул на меня и сказал сочувственно:

— Попрощаться хочешь?

И оттого, что он понял, я испытала к нему благодарность. Молча погладила рояль по черному, тусклому боку. По тому месту, где было выцарапано «Таня». Мне очень хотелось прижаться лицом к его черной крышке, слезы стояли в горле. Но кругом ходили люди, а на улице ждала мама. Я боялась, что ей надоест меня ждать и она войдет.

— Прости,— шепотом сказала я, не знаю кому — то ли роялю, неприкаянно притулившемуся среди других роялей и пианино, то ли бабушке, то ли самой себе, той, которой я уже никогда не буду. Повернулась и пошла к выходу.

— Ну, нашла? — спросила мама.

— Что нашла?

— Платок, ты же за платком ходила!

— А, да, нашла...

— Ну вот, большое дело спихнули,— сказала она.— Все-таки жалко. А с другой стороны...

Сколько можно об одном и том же! Не хотела я никакой другой стороны!

— А погода какая! — говорила мама, глубоко вздыхая и щурясь от солнца.— Ах, какая погода! Настоящее лето.

Дома я заперлась в ванной и выплакалась. Пустила воду, чтобы никто не догадался, зачем я заперлась. Потом долго мыла лицо, чтобы скрыть следы слез. Я понимала, что, с точки зрения взрослых, мои слезы не заслуживают никакого сочувствия, это глупая, детская сентиментальность, ведь продажа рояля — это не горе, это вообще не серьезно — со взрослой точки зрения. И оттого, что я это понимала, мои слезы были еще горше — я прощалась и с ними, потому что, может быть, это были последние слезы моего детства.

Потом вошла в комнату. В том месте, где еще недавно стоял рояль, теперь большой кусок бесполезной «полезной площади». Выщербленная паркетина. Беспорядочная куча игрушек и «стройматериала», которая производит жалкое, неряшливое впечатление оттого, что лишилась крыши над головой. Все это скоро будет прибрано, расставлено по полкам, будет куплен шкаф, коврик прикроет изуродованную паркетину. И комната окончательно лишится незримого присутствия бабушки.

Илюшка с другом Мишкой забрались на тахту, накрылись пледом и самозабвенно командовали...

— В кормовой отсек!
— Надевай скафандр!
— Готово!
— Ныряй!
Они, извиваясь, сползли на пол и двинулись, стараясь проползти между ножками стульев. Схватывались с морскими чудовищами, стреляли, побеждали, подбирались к вазе с фруктами, стоящей на столе.
— Набирай побольше съедобных водорослей - и назад, в лодку!
— Не могу! Меня держит осьминог!
— Бж-ж! Убит! Отплывай в сторону!
Они живут в своем мире, в жарком мире Игры. Неужели и для них наступит время, когда не станет Игры, и в их жизнь тоже постепенно начнет вползать житейская проза, как холодная вода, и огонек детства будет, шипя, отступать, испаряться, и останется мокрое, дымящееся пепелище, как круглый, выжженный след от недавнего костра?..

— Они там, в яслях, совсем не гуляют,— сказала Ленка.— Жалко их, до потери пульса. Сидят в манежах, как зверьки. Старших еще водят гулять, а с этими возни много, а воспитательница одна, на всю группу. А в группе — двадцать вот таких малышат. Даже еще меньше Тяпы есть.
В яслях Тяпа не гулял, поэтому в субботу и в воскресенье Ленка старалась подольше держать его на свежем воздухе.
В последнее воскресенье Ленке самой нездоровилось — болела голова, и она попросила свою маму побыть с Тяпой. Та охотно приехала, навезла подарков, долго гуляла с малышом. Ленка потом утверждала, что именно мать его и простудила.
— Привела его домой, а он холодный, как сосулька. Ноги мокрые. Ну их всех, помощников этих. Сама обойдусь. Никто мне не нужен.
К ней забега́ли подруги, Мишка заходил с женой. Приносили торт или конфеты. Ленка изображала счастливую, всем довольную маму.
— Денег у меня теперь — навалом! Я ведь на полторы ставки, питаюсь в яслях, девяносто рубликов каждый месяц чистыми!
Она уже неделю сидела на больничном. Отоспалась немного. Подруги уходили в полной уверенности, что Ленка вполне



довольна жизнью. Но когда они уходили, с Ленкиного лица тут же сползало счастливое оживление. Сидела на диване ссутулившись, опустив голову.

— На майские в поход идут, на три дня, — жаловалась она мне.— Говорят, подкинь матери и пошли вместе. Да она его опять простудит, не доверяю я ей...

Я смотрела на Ленкину понурую фигуру и думала: а нужна ли она вообще — необыкновенная встреча? Вот у Ленки случилась такая встреча, ну, а потом? Что у нее? Ребенок отнимает у нее все время. Ребенок и работа. И хоть бы работа была увлекательная. А то — целый день крутить мясорубку да рубить капусту. Но ведь это тоже для ребенка. Замкнутый круг. За всем этим воспоминание о необыкновенной встрече стерлось, выцвело, и она уже не кажется необыкновенной. По существу, эта встреча сломала Ленкину жизнь, которая без нее могла бы идти ровно и нормально, как у большинства ее подруг, которые учились, работали, встречались с ребятами — обыкновенно назначали свидания под часами или у метро. Впрочем, возможно, для них эти свидания тоже были в известном смысле необыкновенны — неповторимы.

Я поднималась по лестнице и, еще не дойдя до своей площадки, услышала возбужденные голоса. И слово: «Отдала».

— Отдала! — повторяла тетя Надя, Ленкина мать.— Видеть ее не могу, не то что разговаривать! Кукушка!

— Да тише! — отвечал ей голос моей мамы. — Не обязательно, чтобы весь дом об этом знал.

Голоса переместились в нашу квартиру, дверь хлопнула. Я открыла своим ключом и вошла на кухню. Тетя Надя, в пальто и платочке, плакала, сидя у стола, а моя мама стояла перед ней и говорила:

— Да почему — в чужую? Там отец! У нас равноправие, слава богу.

— Отец! Пустое место этот отец! Да мне в свое время предложили бы такое — да я бы!..

— А что ты видела в жизни, если на то пошло? Ленке трех лет не было, когда ты с ней осталась. И что? Всю жизнь руки были связаны! Теперь только наверстываешь, да разве наверстаешь? Лучшие годы прошли. Ты для своей дочери этого хочешь? Лена поступила правильно! Во всех отношениях правильно! Не в детдом отдала — в культурную, обеспеченную семью.

— Да хоть в самую распрекрасную семью! Как это так: своего ребенка — и отдать.

Я вышла на площадку и постучала в стену Ленкиной комнаты условным стуком. Она открыла. Молча сделала знак: «Проходи».

В комнате было почти все, как прежде. Только детские вещички исчезли. Только в кроватке не было ни одеяльца, ни простыни, ни подушки. Один непокрытый матрасик и на нем забытая, ненужная погремушка.

— Когда это ты его?..— спросила я.

— Да утром сегодня. Они на машине за ним приехали сразу, как я позвонила. У них и машина своя...

— Неужели насовсем?..

— Осуждаешь? — спросила она презрительно.— То все уговаривали, теперь все осуждают. Янина все утро разорялась, теперь лежит — сердце болит. А как уговаривала! Мать тоже...

— Тетя Надя не уговаривала.

— Да? Это она теперь такая правильная. А сколько раз она мне мозги ела, что я жизнь ее загубила? Что, если бы не я, она бы за дипломата вышла и по заграницам разъезжала? Она думает, я забыла! А я ничего не забыла!

— Ты же не хотела отдавать...

— Да уж хоть ты молчи, не растравляй...

— Да нет, я ничего...

— Поскучаю — и пройдет, сказала она решительно.— Да мне некогда будет скучать. Я теперь за учебники сяду. Все ведь забыла. Работу подыщу полегче и с осени — на вечерний. В кино буду ходить, на выставки... В ту субботу конкурс песен будет, Мишка сказал. Поедем вместе?

— А можно?

— А чего? Я ведь тоже сбоку припека.

— Поедем.

Нет, я Ленку не осуждала. Только пусто как-то стало без Тяпы.

Сбор был назначен у Киевского вокзала, в три часа. Это было удобно, я как раз успела вернуться из школы и пообедать.

Ленка сказала:

— Надевай что-нибудь похуже, а то измажешь.

Сама она надела старую штормовку и джинсы — экспедиционный костюм, который очень к ней шел. Она распустила по спине и плечам свои длинные, светлые волосы и стала очень

хорошенькой. Она и была хорошенькой, но последнее время я как-то не замечала этого — очень уж усталый был у нее вид. Грязный фартук поверх халатика — вот в чем я ее чаще всего видела дома. А сейчас она словно распрямилась, глаза блестели от предвкушения, она торопила меня:

— Давай скорей, бутербродов каких-нибудь возьми или чего есть из еды — там жрать знаешь как захочется!

Я запихала в сумку плед, положила сверток с бутербродами, плавлеными сырками и куском докторской колбасы, надела джинсы и старую куртку — вообще-то мне хотелось выглядеть понаряднее, но голубое пальто Ленка категорически отвергла:

— Прожжешь.

...У Киевского вокзала народ уже собирался. Причем сразу можно было догадаться, кто на КСП — так сокращенно назывался конкурс студенческой песни,— а кто просто, сам по себе.

Группами и маленькими группками стояли парни и девушки с рюкзаками, с палатками, почти все в штормовках или в зеленых геологических куртках. Все были оживленны, встречали веселыми возгласами подходивших знакомых. Многие были с гитарами — в чехлах и просто так, на шнурке через плечо.

Мы с Ленкой долго искали нашу группу, пока наконец нас не окликнул Мишка. Он стоял в компании каких-то незнакомых ребят. У Мишки тоже была гитара через плечо.

Наша группа — это была как бы маленькая ячейка, одна из многих, лепившихся у вокзала. Я с интересом поглядывала на другие ячейки, где, так же, как у нас, шел бессвязный разговор, а кто-то уже настраивал гитару.

В вагон электрички мы еле втиснулись и тут же стали устраиваться — кто на рюкзаках, кто на краешках скамеек. Кругом все тоже устраивались, перекидывались шутками, и мне казалось, что все знают друг друга, так непринужденно перекрикивались через весь вагон. Поезд тронулся, и тут же в вагоне начались песни — словно репетиция перед концертом, проба голосов и гитар.

Я помалкивала, боялась ляпнуть какую-нибудь глупость, все-таки я тут моложе всех, остальные казались мне взрослыми, и я была очень рада, что меня взяли, что ко мне обращаются, благодарно смеялась в ответ на незамысловатые шутки. Вообще мне было хорошо, а Ленке — еще лучше, я это видела. Ее словно опьянило это многолюдье, этот смех и бренчание гитар. Наверно, все это напомнило ей экспедицию. Она просто сияла.

Впереди пели одну песню, позади — другую, на боковой

скамейке — третью, и все это создавало веселый разнобой, легкость, приятную дорожную неразбериху.

Мы ехали уже около часа, когда по вагону прошло слово «Бекасово».

— В Бекасово выходим!

— Передайте в другой вагон — Бекасово!

Казалось, весь поезд вывалился на платформу, да так оно и было, поезд уехал дальше почти пустой, а платформа густо зазеленела штормовками, стройотрядными куртками, рюкзаками.

Я боялась потерять Ленку — в такой куче народа это было нетрудно. Голос, усиленный мегафоном, скомандовал:

— Переходите на третий путь!

Все начали прыгать с платформы прямо вниз, на рельсы, и перебегать на другой путь, мы тоже прыгнули. Мгновенно платформа опустела, зато другая платформа во всю длину поезда заполнилась зелеными куртками. Казалось, туча кузнечиков перепорхнула с одной платформы на другую. Я, конечно, тут же потеряла из виду Ленку: она ведь была, как все, в зеленой штормовке — попробуй найди.

Потом все-таки нашла ее — не сразу — и успела переволноваться. Она разговаривала с бородатым парнем.

Тот расспрашивал ее, где она учится, зачем забрала документы, и я догадалась, что это один из тех, с кем она поступала в Институт связи. Она отвечала, что вот собирается поступать в геологоразведочный и что два сезона работала в экспедиции, но про Тяпу она ничего не сказала. Может, не сочла нужным откровенничать, а может, потому, что просто забыла про Тяпу или решила забыть на сегодня.

Подошла электричка, мы снова взяли ее штурмом. На этот раз мы ехали с полчаса и вывалились на маленькой станции Мачихино.

Перепрыгнули через неширокий кювет, наполненный талой водой, со следами еще не растаявшего весеннего снега.

И пошли по лесной дороге. Я шла, ощущая себя частицей огромной, веселой колонны, нас обгоняли, и мы кого-то обгоняли. У парня, шагавшего впереди меня, к рюкзаку была прикреплена жестяная табличка с надписью «Не влезай — убьет», наверно, снятая с какого-то электрического столба. Мне это показалось очень остроумным, и все, кто видел эту надпись, смеялись, и вообще все кругом смеялись, улыбались, перекидывались шутками. Было прохладно. Пахло прелыми листьями. Я давно не была за городом и теперь наслаждалась видом про-

буждающихся деревьев, ветвями с набухшими почками, кое-где преграждающими путь.

Неожиданно лес расступился, и открылась огромная поляна.

Уже солнце заходило, но было еще совсем светло, и я увидела, что по краю леса расставлены палатки — сотни разноцветных палаток — и уже кое-где горят маленькие костерки.

Мы прошли по этому огромному лагерю, мимо палаток, возле которых стояли вешки-вымпелы с названиями институтов. Тут чувствовалась чья-то организующая рука. Нас спросили, из какого мы института. Мишка ответил, и нам указали место, у самой кромки леса. И предупредили, чтобы мы не рубили деревья, брали только сушняк.

И вот поставлены две палатки, выложены запасы, и уже горит маленький костер, все ярче и ярче, потому что быстро темнеет. Но пусть темнеет, ведь мы уже на месте, и костер горит, и уже окружающие меня лица перестают быть для меня вообще лицами, а становятся знакомыми, своими, и от этого симпатичными.

В нашей группе, кроме нас с Ленкой, еще две девушки: Вера — Мишкина жена и Лида, остальные — парни, человек семь, почти все бородатые. Парни действуют умело и быстро — видно, что привычны к таким вот походам.

По мегафону объявили, что концерт начнется в десять часов вечера, а второе отделение — завтра, в десять утра. И что перед концертом будет факельное шествие, и поэтому пусть все подойдут к организаторам и возьмут паклю для факелов.

Посреди поляны была сооружена маленькая дощатая эстрада под брезентовым тентом. Возле нее какие-то люди уже устанавливали микрофоны.

Мишка сбегал и принес паклю, и мы накрутили ее на палки.

Картошка сварилась быстро, в нее вывалили две банки тушенки, разложили по мискам, нарезали хлеб.

И все это: ужин и то, что рядом с нашим костерком, справа и слева, горели другие костерки и возле них тоже ужинали, а кое-где уже наигрывали на гитаре,— казалось мне таким необычным! Даже не верилось, что где-то школа, экзамены, зубрежка...

Все это далеко-далеко.

Я уже знала, что Лида — жена одного из бородачей, Гены, и что этот Гена вовсе не студент-геолог, а врач, и что дома у них осталась годовалая дочка. А у другого бородача, Левки,— пятилетний сын, которого он берет с собой во все походы, а на будущий год, может быть, возьмет с собой в экспедицию.

И мне вовсе не казалось странным, что еще совсем недавно я не знала о существовании всех этих людей, наоборот, мне казалось, что мы знакомы давным-давно.

Вдоль палаток, освещая путь фарами, медленно проехал «газик» с мегафоном, установленным на крыше. Знакомый уже голос многократно объявлял о начале факельного шествия, о том, что нужно построиться в колонну и ждать команды.

И вот команда прозвучала, и мы двинулись вперед, держа в руках еще не зажженные факелы. Вдоль всего шествия, на расстоянии нескольких метров друг от друга, горели маленькие костерки, образуя как бы направление пути, и стояла шеренга парней и девушек со стихотворными смешными лозунгами. Передняя часть колонны уже завернула к эстраде, и движущиеся огоньки факелов осветили ее. Потом наступила и наша очередь зажигать факелы. Мы подошли к вырытой канавке, в которую была налита солярка, окунули концы факелов в черную густую массу и затем сунули их в костер. И вот уже и мой движущийся огонек влился в общее светящееся шествие, в эту реку огоньков, и огненные капельки падали с моего факела на землю.

Сбоку от эстрады горел большой костер, и те, кто шли мимо него, швыряли в него свои факелы. И я тоже кинула. Ленка схватила меня за руку и сказала:

— Бежим поближе к эстраде!

Мы начали продираться вперед, но к самой эстраде подойти не удалось, там уже плотно сидел народ, прямо на земле. На бегу я потеряла Ленку и всех наших — темно было, костер с нашими догорающими факелами остался далеко за спиной, эстрада была ярко освещена прожекторами.

— Садитесь! Садитесь! — кричали задние ряды, вернее, просто зрители, потому что рядов никаких не было. Я села, чувствуя, что в меня упираются чьи-то ноги, локти и колени. Сидеть было не только неудобно, но и холодно — земля еще не оттаяла. Многие сидели на свернутых спальных мешках, на резиновых надувных подушечках, а я ничего с собой не взяла.

Порыв радости схлынул, и я пожалела, что потеряла Ленку и не с кем даже обменяться впечатлениями — ни одного знакомого лица. Но уже вышел на эстраду ведущий и поднял руку.

Все стихло. Он объявил членов жюри конкурса и среди них назвал фамилию поэта, который давно уже стал для меня классиком, хотя его и не изучали в школе. Но песни на его слова и музыку знали все. У нас дома были магнитофонные записи многих песен в его собственном исполнении.

Уж конечно, не для одной меня его имя прозвучало сюрпризом. Началась овация. Я тоже изо всех сил хлопала и скандировала вместе со всеми: «На сце-ну! На сце-ну!»

Он вышел на сцену, худой, сутуловатый, с непокрытой седеющей головой, в потертом кожаном пальто, удивительно естественный и непохожий на знаменитого поэта, такого, каким я их себе представляю.

Все поднялись на ноги — а это было не так просто сделать — и запели песню на его слова и музыку. И когда дошли до слов: «Возьмемся за руки, друзья!», то и в самом деле взялись за руки. Песня с ее незамысловатыми словами связала всех нас, знакомых и незнакомых, и это было похоже на маленькое чудо.

Поэт поблагодарил всех, сошел с эстрады и занял место сбоку, на скамейке, среди других членов жюри.

Если бы не затекшие ноги и не холод снизу и сверху, концерт, наверно, мне понравился гораздо больше. Но он и так мне понравился. К эстраде были подведены десятки микрофонов — многие записывали концерт на магнитофоны. Некоторых исполнителей публика встречала криками и аплодисментами, некоторых — молча. И провожали по-разному. Иногда свистом.

Ноги мои затекли. Я пыталась переменить позу, но не могла.

— Ну-ка, подвинься! — Бородач слева от меня обратился к соседу.— Тут девчонка совсем окоченела.

Он освободил кусочек спального мешка и втянул меня на него. Помог накинуть куртку на плечи.

— Ну как, получше?

— Ага. Спасибо.

Парень притянул меня поближе к себе, чтобы я не свалилась с мешка. Так мы и сидели, пока не объявили окончание концерта. Все поднялись на ноги. И сейчас же толпа разъединила меня с моим недолгим другом, но у меня было такое чувство, словно каждый — мой друг, с каждым я могу заговорить, и мне ответят, меня примут, потому что это была не та толпа, что ежедневно проходит мимо меня по улицам города, равнодушная к моим делам и мыслям. Здесь все были друзьями.

Костер за эстрадой догорал. Где-то среди огоньков, окружающих огромную поляну, светился и мой огонек, но его предстояло еще найти. Я пошла через поляну — темную, почти черную после яркого света эстрады. Но потом я увидела звезды. Черное небо с точками звезд наклонилось низко надо мной, и я подумала, как мне было бы страшно, окажись я здесь одна. А сейчас я могла подойти к любому костру.

После недолгих поисков я отыскала свой костер. Можно было забраться в палатку и поспать, но жаль было тратить на сон хотя бы минуту этой необыкновенной ночи. Я впитывала в себя тепло костра и холод неба, силуэты палаток и движущихся фигур.

Из темноты вынырнула Ленка.

— А, ты уже здесь! А я тебя ищу.

Позади Ленки смутно вырисовывалась высокая мужская фигура.

— Пойдем к нашему костру,— произнес голос, который показался мне очень знакомым.— У нас там двое ленинградцев поют здорово.

Он подошел к костру и протянул к нему руки.

Это был Олег.

Несколько лет назад, не помню уж по какому поводу обидевшись на родителей, я ушла вечером из дома и отправилась бродить по близлежащим знакомым переулкам. Дойдя до молочной, я свернула в Мансуровский, где в большом новом доме жила девочка из нашего класса, Наташка, с которой я немного дружила. А через дорогу стоял старый одноэтажный особняк с мезонином, чуть видный из-за каменного забора и высоких лип, росших в глубине сада. Много раз проходила я мимо этого каменного забора и ничего особенного на замечала. А в этот раз заметила маленькую деревянную калитку в заборе — совсем низенькую, ниже моего роста. Калитка была приоткрыта. Может, я раньше не замечала ее потому, что она всегда была плотно закрыта и почти сливалась с забором, но у меня возникло странное чувство, что калитка появилась только что, специально для меня.

Робея, я тронула ее и, низко нагнувшись, вошла в сад. Это было так, словно машина времени вдруг перенесла меня чуть ли не на сто лет назад, в маленькое поместье с фруктовым садом и толстыми, темными стволами лип.

Была зима, но на улице она ощущалась слабо, о ней напоминали разве что грязноватые кучи снега по краям слякотных тротуаров, а тут, за каменным забором, была настоящая снежная зима. Ее не коснулись дворницкие лопаты и снегоуборочные машины, и она царила во всей своей нетронутости.

Мимо меня пугливо промчалась кошка, оставляя в снегу следы своих лапок, вспрыгнула на крыльцо и принялась отряхиваться. К крыльцу вела узенькая протоптанная тропинка.

Это был обветшалый, но еще крепкий особняк с высокими овальными окнами. Лишь одно окно было освещено, я остановилась напротив и стала смотреть в глубину комнаты. А там, в незанавешенном окне, горела настольная лампа и еще тускло мерцали какие-то зеленые и желтые светильники — или отражения?.. Там чувствовался покой, особый покой старины.

Да, я попала в другой мир. Прислонившись к стволу, я смотрела в неподвижную глубину окна. Я видела картину в тяжелой, золоченой раме. На ней был изображен старик, сидящий за столом. Он словно размышлял о чем-то, одной рукой опираясь о подбородок, другую положив на листы бумаги. Зеленоватая лампа освещала сбоку его худое лицо с маленькой острой бородкой, его руку с длинными пальцами. Он был так реален, этот старик на портрете, что мне показалось — он сейчас шевельнется.

И он шевельнулся. Я изо всех сил прижалась спиной к стволу дерева, вжалась в ствол,— я до этого только читала про галлюцинации, но в глубине души не верила, что галлюцинации могут быть у обыкновенных людей вроде меня.

Старик опустил руку. Теперь обе его руки лежали на столе. На меня нашла дурманящая оторопь. Я не могла двинуться с места.

Он поднял голову. И вдруг быстро встал и исчез. Осталась тяжелая позолоченная рама, в которой ничего не было! Только стол с листами бумаги, освещенными зеленоватым светом лампы.

Я глухо вскрикнула и бросилась к калитке, испытывая дикий ужас при мысли, что калитка окажется запертой и я навсегда останусь в этом заколдованном саду.

Калитка была приотворена. Я выскочила в переулок и остановилась у забора, тяжело дыша. Мерцала неоновым светом надпись: «Ателье», женщина тащила за руку упирающегося мальчишку, проезжали машины, а у меня дрожали колени и зубы стучали. Что это было?..

Дома я рассказала Ленке о том, что видела. Она, конечно, мне не поверила, и на следующий вечер мы вместе отправились к волшебной калитке. С Ленкой мне было не так страшно. Я подвела ее к липе, откуда хорошо была видна картина. Старик снова был на ней, но уже не в той позе, что вчера. Чуть отодвинувшись от стола, он держал в руках книгу. И вдруг перевернул страницу!

— Эх, ты! — сказала Ленка.— Да это же зеркало. Он сидит за столом, а перед ним зеркало! Он в нем отражается!

Все встало на свои места. Чуда не было. Было обыкновенное зеркало, висящее над письменным столом. А старик просто жил в этом доме и работал за этим столом. И отражался в зеркале.

— Но вообще я в первый момент тоже испугалась,— сказала Ленка.— Правда, очень похоже на живой портрет.

Мы ушли, и я с тех пор не заходила в тот сад. И хотя я понимала, что не было никакого чуда,— осталось воспоминание о том потрясении, которое я там испытала. С годами это воспоминание не тускнело, оно тоже как бы слилось с моей Игрой, стало ее частью.

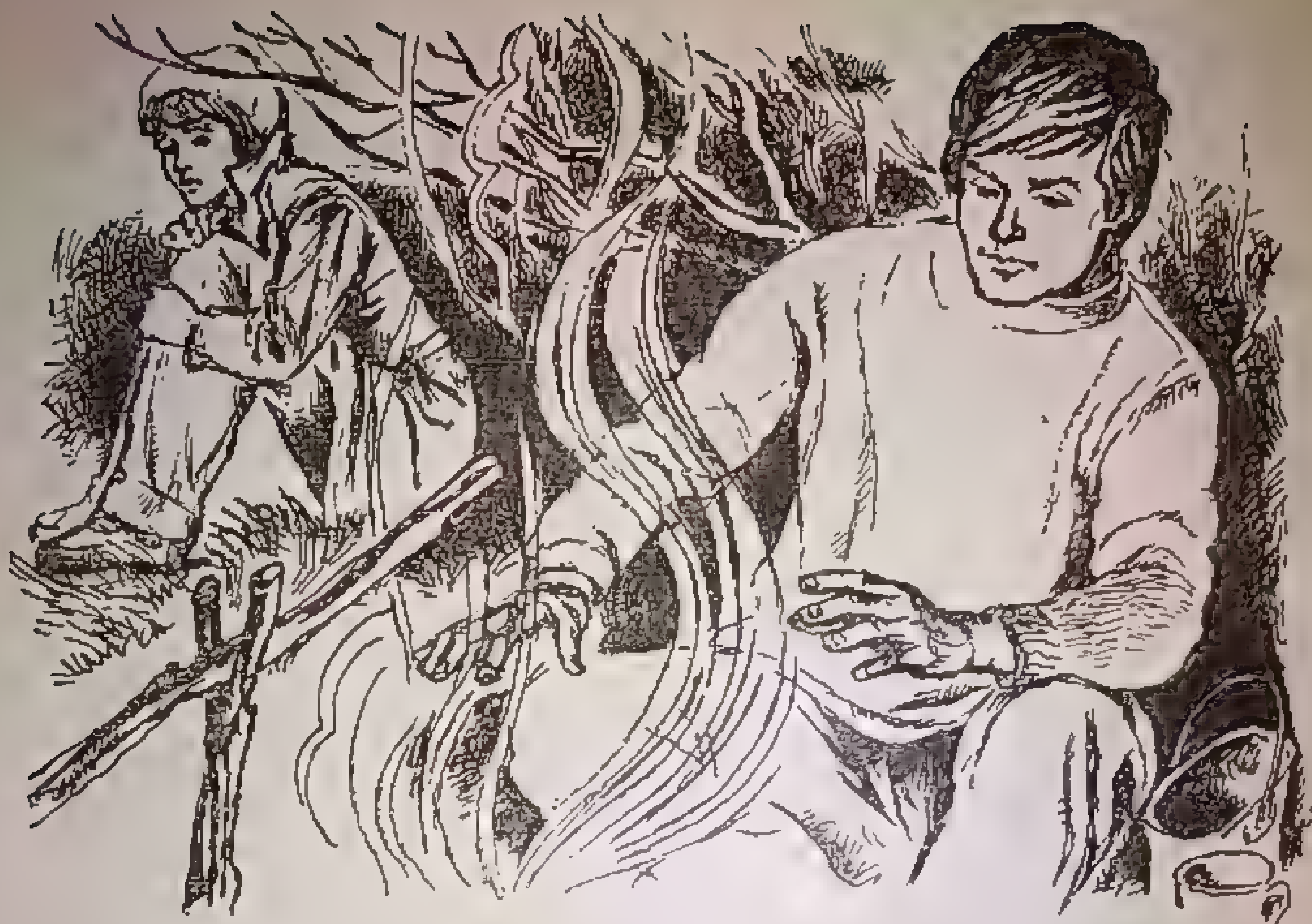
И вот теперь, когда я увидела Олега, чувство потрясения повторилось почти с прежней силой. Я так часто о нем думала после той злосчастной вечеринки, сколько раз мысленно разговаривала с ним, пытаясь оправдаться, объяснить свое дурацкое поведение, так явственно представляла себе, как мы встречаемся, идем по улицам, как он подшучивает надо мной...

Он не узнал меня. Равнодушно поздоровался и продолжал греть руки у костра. Я этому даже обрадовалась. Мысленно-то я могла разговаривать с ним о чем угодно, но сейчас, когда он был рядом, я боялась лишний раз взглянуть на него. Ох эта проклятая застенчивость! Она нападала на меня в самые неподходящие минуты. Парализовывала язык и движения.

Впрочем, никто этого не заметил.

— Пошли,— сказала мне Ленка.— Сейчас около всех костров поют.

И мы отправились втроем в странное путешествие — от костра к костру, как от одной обитаемой планеты к другой. Между планетами царили галактическая темнота и холод, а у костров-планет светло и тепло, кажется, не столько от огня, сколько от приветливости и доверия. У некоторых костров группки были небольшие и гитара звучала тихонько, как бы по-семейному. Были костры многолюдные, здесь выступали певцы с именами, хорошо известными среди студентов. Нет, «выступали» — это не то. Просто пели, удобно устроившись у огня на бревнах, и те, кто их окружали, не внимали, а просто слушали, подпевали, а в перерывах между песнями обращались к певцам по имени, протягивали кружки с чаем, и не было тут артистов и зрителей, а все были на равных. И каждая песня была как товарищ, каждую хотелось запомнить и унести с собой, и было обидно, что при всем желании этого нельзя сделать, нельзя



даже прослушать их все, но хотя бы краешком души коснуться некоторых из них уже было радостно и неповторимо.

Так мы ходили от костра к костру, путаясь в ветвях, спотыкаясь о кочки. Сначала Олег шел впереди, прощупывая дорогу, а потом — я и не заметила, когда это случилось — Ленка шла рядом с Олегом, и он, обняв ее за плечи, говорил с ней о чем-то очень тихо, и она так же тихо отвечала. А я плелась за ними, еще не понимая, что мы уже не втроем, а что Ленка и Олег — вдвоем, а я — отдельно.

Словно невидимая нить протянулась между ними и связала их, и они отделились не только от меня, но и от всего остального, замкнулись друг на друге. Вот как это бывает.

А я потихоньку отстала. Они и не заметили. Я постояла у какого-то костра и пошла через поле к своему костру.

Поле было черным и почти безлюдным, только кое-где мелькали чьи-то силуэты, но они не могли заметить моих слез, поэтому я плакала не скрываясь. Нет, это была даже не обида, хотя, если строго подходить, Ленка отбила у меня Олега, ведь я с ним раньше познакомилась. Да нет, при чем тут отбила. Это я рисовала в своих мечтах всякие картины, он и

не помнил о моем существовании. Нет, он тут не виноват, и она не виновата.

Я плакала потому, что необыкновенная встреча, о которой я мечтала, произошла, но оказалось, что она не про меня. Наверно, я еще просто не доросла до необыкновенной встречи. Сколько же мне еще ждать ее? Год? Два? Три? А вдруг опять случится так же, как сегодня?

Нет, просто в этот раз необыкновенная встреча снова произошла не у меня, а у Ленки. Может быть, она тоже мечтала. Но ведь не об Олеге! Ведь для нее это — просто встреча. Даже не встреча — знакомство. Несправедливо.

У нашего костра Мишка пел под гитару, некоторые подпевали. Другие разговаривали, курили. Подкидывали в костер палки. Вера и Лида ушли спать в палатку.

Чуть-чуть забрезжило. Подошла Ленка, одна. Села рядом, налила себе чаю и стала молча смотреть в огонь. О чем она думала? Мне показалось, что размышления ее невеселые.

— А где Олег? — спросила я.

— Там...— она неопределенно махнула рукой.— Я ему не велела за мной ходить.

И опять стала смотреть в огонь.

Ночь кончилась. Неясно обозначились контуры палаток, потускнели огоньки костров. Осветилось поле — все белое от инея, и палатки обрели свои краски — оранжевые, синие, желтые, зеленые, выгоревше-белые. Потом взошло солнце, и по мере того как его лучи ползли по полю, таял иней и поле зеленело на глазах. Голова после бессонной ночи слегка кружилась, но спать не хотелось.

Собрали остатки еды, сварили вермишель, позавтракали. Подошел Олег и сказал Ленке:

— Ну что же ты? Сказала, скоро придешь... Я ждал-ждал...

Она молча пожала плечами.

— Я там места занял, возле самой эстрады, – сказал он неуверенно.— Скоро второе отделение начнется. Пошли?

— Я домой поеду,— сказала Ленка.

— А как же второе отделение?

— Обойдутся без меня. Мне за ребенком надо.

— За каким ребенком? — растерялся Олег.

— За моим.

— Мы тоже поедем,— сказала Лида.— Генка, собирайся, дочка ждет.

— Танька, ты как, останешься?— спросила Ленка.— Вот оставайся с Олегом, он как раз место занял.

— Нет, я с тобой,— сказала я, еще ничего не понимая, кроме того, что сегодня ночью что-то переломилось в Ленке.

По правде говоря, было искушение остаться и сидеть все второе отделение рядом с Олегом, но получалось так, словно Ленка меня ему навязывала, вот если бы он сам предложил... Но он и не смотрел в мою сторону. Он смотрел на Ленку, и в глазах его было изумление. Видно, Ленка ночью ничего не сказала ему о ребенке. Зачем ей теперь-то понадобилось говорить?

Но мне казалось, я поняла. Она не ему сказала. Самой себе напомнила, что у нее есть ребенок. И ей легче стало. Заулыбалась, глубоко вздохнула, словно сбросила тяжелый груз.

Мы попрощались с теми, кто оставался, и отправились в обратный путь. Олег провожал нас. Он говорил о вчерашнем концерте, сравнивал с конкурсами прежних лет, называл фамилии певцов, но из глаз его, устремленных на Ленку, не исчезало изумление.

Не доходя до станции, Ленка остановилась и сказала Олегу:

— Дальше не провожай. На второе отделение опоздаешь.

— Ну и пусть,— ответил он.— Слушай, я тебе позвоню в Москве?

— Звони,— равнодушно сказала она.— Ну, привет!

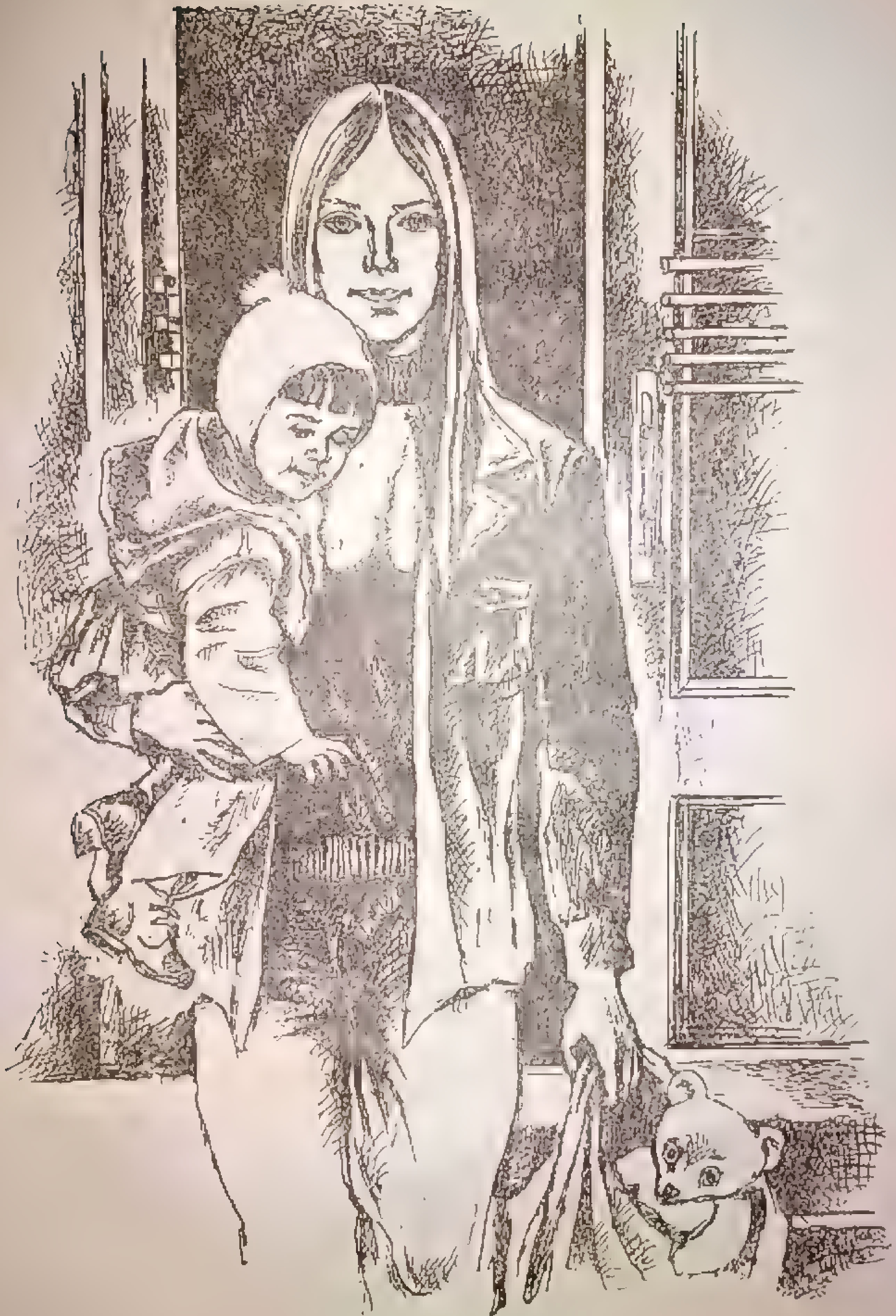
И я тоже сказала ему: «Привет!» Так и не решилась признаться ему, что мы знакомы. Да вряд ли это его заинтересовало бы.

Ленка зашагала быстро, я едва поспевала за ней. Мы обгоняли тех, кто тоже не остался на второе отделение,— видно, многих ждали дела в этот воскресный день.

На станции я еще раз удивилась обилию народа: ведь там, в лагере, еще не начали даже сворачиваться; те, что ждали сейчас вместе с нами электричку, были маленькой частью огромного целого, но и эта маленькая часть заполнила весь перрон. Некоторые были с магнитофонами и теперь прокручивали записи.

Ленка нетерпеливо поглядывала в ту сторону, откуда должна была показаться электричка. Наконец электричка подошла, и мы сели. Вокруг нас, как и вчера, слышались переборы гитар, шутливые разговоры, но на этот раз Ленка не принимала в них участия. Она отрешенно смотрела в окно, потом, обернувшись ко мне, спросила:

— У тебя сколько с собой денег?



— Два рубля с чем-то,— ответила я.

Она кивнула:

— Ладно, это я на всякий случай. У меня трешка. На такси хватит. Я домой заезжать не буду, сразу — к ним

— За Тяпой? — обрадовалась я.

Она кивнула.

— Ты со мной поедешь?

— Конечно! — ответила я.

— Нет, это кошмар какой-то,— произнесла она после долгого молчания.— Я такой подлой никогда еще себя не чувствовала. Даже когда отдала — ничего. А сегодня ночью иду с этим Олегом, он меня расспрашивает, где я, что я... Я вру чего-то.. Мне этот Олег вообще-то сразу понравился, ну я и подумала... Что было, то прошло, начну все сначала. И вдруг... Ну вот — как ударило: для чего мне зачеркивать? Да все равно все со мной останется, только подлой себя буду чувствовать всю жизнь! Да что Тяпа — позор, что ли? Может, я за всю свою жизнь только и сделала хорошего — ребенка родила. И подкинула в чужое гнездо! Ну их всех, этих Олегов, Юрок, в гробу я их видела в белых ботах! Только бы Тяпу скорее забрать!

С передней скамьи оглянулись, и Ленка замолчала и до самого приезда не проронила ни слова.

«А вдруг не отдадут?» — подумала я, но ничего не сказала Ленке. Она, наверно, тоже об этом думала. На ее лице было выражение решимости.

От Киевского метро мы доехали до «Юго-Западной». Там мы поймали такси. Ленка велела мне ждать в машине сама пошла за Тяпой. Ее долго не было, я уже начала волноваться Неужели не отдадут? Только бы отдали!

Дверь подъезда открылась. Вышла Ленка. Одной рукой она прижимала к себе Тяпу, а другой тащила узел с детскими вещами. Она кинула узел мне, на заднее сиденье, а сама с Тяпой села впереди, прижала малыша к себе и забыла, кажется, обо всем на свете.

Вот и экзамены позади. Пока сдавала, бегала на консультации, готовилась, была одна мечта — поскорее освободиться. И вот освободилась. И сразу пустота какая-то.

Ленка уехала с детским садом на дачу, в Жуковское. Она решила с осени отдать Тяпу на пятидневку и поступать в Институт связи, на вечерний.

Илюшка переполз в пятый и уехал в пионерлагерь. Мне предстояло провести июнь в городе — в лагерь я уже не подходила по возрасту. А в конце июня папа с мамой возьмут отпуск, и мы все поедем в Карелию, как папа обещал.

За время экзаменов я сблизилась с двумя девчонками из нашего класса — Каринкой и Машей, и теперь мы втроем ходили в бассейн, в парк культуры, в кино, катались на речном трамвайчике. Дни стояли довольно пасмурные, но теплые. Для городской жизни в самый раз: не было давящего зноя, плавящегося асфальта, духоты.

Однажды Каринка предложила пойти в Музей имени Пушкина смотреть Джоконду. Во всех газетах писали про эту картину — ее привезли к нам всего на несколько недель, и очереди к музею были огромные. На осмотр картины давалось всего пятнадцать секунд, и Каринка высчитала, что очередь должна двигаться довольно быстро. Но все-таки лучше пойти к открытию, чтобы быть одними из первых.

Мы встретились у Кропоткинского метро и подошли к музею в полвосьмого утра. Но очередь уже обогнула музей и тянулась вдоль улицы Маркса-Энгельса. Пришлось довольно долго идти, пока мы не достигли конца очереди. Мы встали — и тут же за нами продолжился хвост, люди подходили и подходили, и вскоре конец очереди уже скрылся где-то вдалеке.

Через полчаса Маша сказала:

— Это целый день стоять ради пятнадцати секунд? Дураков нет! Я лучше в кино пойду.

— А можно знаете как? — предложила Каринка. — Можно по очереди стоять. Чего втроем-то мучиться? Кинем жребий, кому первому оставаться.

Выпало мне. Каринка с Машей ушли. Через час Каринка прибежала, удивилась, что я почти не продвинулась, и сказала, немножко виновато, что возникла возможность поехать за город на машине, с Машкиным дядей. И что Машка меня тоже приглашает.

Мне почудилось, что Каринка ждет моего отказа. Какой-то смущенный вид у нее был. Я отказалась.

— Да? Жалко! — сказала Каринка.— Ну ладно, если достоишься до победного — после нам расскажешь.

Она убежала, а я осталась. Была мысль — плюнуть и пойти домой. Тоже подруги.

Даже не знаю, почему не ушла из очереди. Может, показалось обидным потерять впустую два часа. А через некоторое время мне даже понравилось стоять в этой очереди. Это была

особая очередь, совсем не похожая на те, которые бывают в магазинах за каким-нибудь дефицитом. Здесь не было лихорадочного блеска глаз, сумок, набитых барахлом, раздраженных стычек на тему: «Вы тут не стояли», долгого придирчивого выяснения, кто за кем, всех этих: « Вы бы постыдились в вашем возрасте!» — «Нахалка!» — «От нахалки слышу!» — опасений, что не достанется, не хватит, вообще всей этой суеты по мелкому поводу.

Странно, но эта очередь чем-то напомнила мне мою весеннюю поездку на конкурс песни. Своей сплоченностью, одержимостью, выражением лиц — дружелюбным, открытым, и еще тем, что я не чувствовала себя здесь обособленно.

Я не знала людей, которые окружали меня, и они меня не знали, но сразу возникла между нами какая-то спайка, духовная, что ли, связь. Позади меня стояла целая семья — муж с женой, очень молодые и, сразу видно, влюбленные. Я бы и приняла их за влюбленную парочку, если бы не обручальные кольца. К ним вскоре присоединилась мама жены и девушка — то ли сестра, то ли подружка жены, за ними — два парня с транзистором, приезжие, судя по разговору. За ними — папа и мама с дочкой лет десяти. Передо мной — три девчонки-семиклассницы, которые все время выясняли отношения, ссорились, мирились, обсуждали подруг и учителей, так что вскоре, не задав им ни одного вопроса, я уже, кажется, все про них знала.

Время от времени начинался дождь, и тогда вся очередь покрывалась разноцветными зонтиками. У меня не было с собой зонтика, но молодой муж каждый раз прикрывал меня своим.

За какой-то девушкой, впереди, пришла мама, уговаривала уйти из очереди, потому что в четыре часа должна была начаться жеребьевка на получение квартиры. Но девушка не захотела уйти. Она сказала:

— Ведь такое бывает только раз в жизни!

Может, в этих словах и было объяснение того, почему мне не скучно было стоять в очереди. Наверно, все были охвачены этим чувством: такое — только раз в жизни. Почему это так — я не понимала, но знала, что так оно и есть, если столько людей готовы простоять под солнцем и дождем целый день ради пятнадцати секунд. Ради одного-единственного портрета, репродукцию которого все наверняка видели много раз.

Каждые полчаса очередь продвигалась на несколько шагов и снова останавливалась. Некоторые сидели на принесен-

ных из дома складных стульчиках, некоторые на газетах, спустив ноги в проемы подвальных окон. Читали. Разговаривали.

Вдоль очереди ходили мороженщицы, лоточницы, продавали пирожки с мясом. Было много милиционеров, спокойных и вежливых. Многие прогуливались вдоль очереди, и я время от времени прогуливалась, останавливаясь у ворот и с завистью глядя, как вежливые милиционеры запускают в музей по нескольку десятков счастливцев.

Было уже пять часов, когда наш участок очереди вошел наконец в узкое русло между каменным забором и трубчатыми металлическими заграждениями. Теперь уже не приходилось опасаться, что мы не успеем до закрытия. Разнеслось сообщение, что сегодня выставка будет работать не до семи, как обычно, а до девяти. К нам то и дело подходили те, кто стоял далеко позади, спрашивали, с какого часа мы тут стоим. И когда узнавали, что с полвосьмого, удивленно качали головами. То ли подсчитывали время, которое придется простоять им, то ли жалели нас, весь день простоявших в очереди.

А я ничуть не устала, да к тому же теперь ждать оставалось недолго. Вежливые милиционеры у входа отвечали на бесчисленные вопросы подходивших, не теряя при этом своей спокойной вежливости. Вообще все были сегодня вежливы и предупредительны, может, еще и поэтому было не утомительно стоять целый день в ожидании. Хорошие люди окружали меня сегодня целый день. Может, я чему-то научилась у них. Впитала в себя частицу хорошего.

И вот нас «запустили».

Я бежала по асфальтовой дорожке большого ухоженного сада, бежала мимо стройных голубых елок с одной мыслью: вот сейчас! Сейчас!

Но еще нужно было купить билет и снова выстоять очередь — теперь уже небольшую, ведущую прямо в зал. Она шла через Итальянский дворик, сразу направо. Сбоку, еще не в зале, а как бы «в передней», висел портрет короля Франциска Первого, тоже присланный из Лувра. Табличка под портретом сообщала, что это тот самый король, который пригласил Леонардо да Винчи во Францию и благодаря которому «Монна Лиза» стала собственностью Франции. И хотя я знала, что король — это всего навсего король, монарх и эксплуататор,— все же посмотрела на бородатое, вполне благородное лицо с невольным уважением: ведь вот, остался в веках, потому что приютил в своей стране великого художника.

И вот мы вступили в зал, окна которого были закрыты шторами, а в углублении стены, на красном бархате, подсвеченная софитами висела одна-единственная небольшая картина. Шаг за шагом мы приближались к ней, а когда приблизились — остановились.

Не знаю, что это было, но горло мое сжалось от волнения, и исчезло все: зал, публика, время,— и осталось только живое лицо, глядящее на меня с портрета. Это было забытье, тихое, глубокое потрясение. Она смотрела на меня из углубления в стене, спокойная, мудрая, все понимающая и все прощающая. В ее взгляде и улыбке было больше, чем мудрость. Проникновение. Да, проникновение. Из дальних далей, из тьмы столетий она смотрела на наш сегодняшний день и дальше, сквозь тьму будущих столетий, и она знала все, что было, есть и будет с человечеством. С каждым из нас. И со мной.

Я почувствовала, что плачу. Наверно, такими и бывают слезы счастья — они не сжимают сердце, наоборот, словно раскрывают его навстречу радости.

Сзади подходили новые люди, и я вернулась из своего забытья и увидела, что многие плачут, и понимала их.

Я еще раз взглянула на нее, пытаясь вобрать в себя весь ее облик, чтобы унести с собой и сохранить в себе на всю жизнь. Потом молча попрощалась с ней и ушла не оглядываясь.

...Горели фонари и отражались в лужах. Теплый ветер бил в лицо, раздувал платье, дождевые иголочки холодили горящие щеки. Восторг, восхищение жизнью охватили и душу и тело. Так широко шагалось, таким прекрасным все было вокруг!

Встречные прохожие смотрели мне в лицо, а некоторые оглядывались. Это оттого, что я дарила им частицу своей радости. Я понимала красоту этих минут, это чудесное состояние души. Вот оно какое, настоящее счастье! Счастье-радость. Отчего? Оттого, что я люблю ветер и дождь? А может, оттого, что я встретилась с Необыкновенным и вдруг поняла, что это только начало, что будет в моей жизни еще не одна такая встреча. И та, которую я жду, тоже будет непременно.

А может, оттого, что все ломается во мне, оттого, что ничего я еще не знаю о своем будущем, оттого, что я еще невысоко забралась на свою гору, мне еще лезть и лезть, пока я доберусь до вершины.

Я шла мимо светящихся витрин, глубоко благодарная и этим витринам, и этому ветру, фонарям, прохожим, мороженщицам, лужам и мокрому асфальту — всему этому миру, в котором нашлось место и для меня.

15 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Анна Владимировна Масс

НЕОБЫКНОВЕННАЯ ВСТРЕЧА

Повесть

ИБ № 3242

Ответственный редактор *З. С. Карманова*. Художественный редактор *Б. А. Дехтерев*. Технический редактор *Л. С. Степина*. Корректор *Н. Г. Худякова*. Сдано в набор 02.04.79. Подписано к печати 02.10.79. А13866. Формат 60×84 1/16. Бум. типогр. № 1. Шрифт литературный. Печать высокая. Усл. печ. л. 3,72. Уч.-изд. л. 3,93. Тираж 100 000 экз. Заказ № 4687. Цена 15 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.



PHOTOS BY ANDREY G AKA DONUT190